

МИРОСЛАВ ДОЧИНЕЦ

# МАФТЕЙ

КНИГА, НАПИСАННАЯ СУХИМ ПЕРОМ



Ретророман

Мирослав Дочинец

**Мафтей: книга,  
написанная сухим пером**

«Фолио»

2016

УДК 821.161.2  
ББК 84(4Укр)6

**Дочинец М. И.**

Мафтей: книга, написанная сухим пером / М. И. Дочинец —  
«Фолио», 2016 — (Ретророман)

ISBN 978-966-03-7113-2

Мирослав Дочинец (род. в 1959 г. в г. Хуст Закарпатской области) – философ, публицист, писатель европейского масштаба, книги которого переведены на многие языки, лауреат литературных премий, в частности, национальной премии имени Т. Шевченко (2014), имеет звание «Золотой писатель Украины» (2012). Роман «Мафтей» (2016) – пятая большая книга М. Дочинца, в основе которой лежит детективный сюжет. Эта история настолько же достоверна, насколько невероятна. Она по воле блуждающего отголоска события давно минувших дней волшебными нитями вплетает в канву современности. Все смотрят в зеркало, и почти никто не заглядывает за стекло, за серебряную амальгаму. А ведь главная тайна там. Мафтей заглянул – и то, что открылось ему, перевернуло устоявшийся мир мудреца.

УДК 821.161.2

ББК 84(4Укр)6

ISBN 978-966-03-7113-2

© Дочинец М. И., 2016

© Фолио, 2016

## Содержание

То, что ты ищешь, ищет тебя	6
Оглавок	10
Затесь первая	13
Затесь вторая	19
Затесь третья	28
Затесь четвертая	37
Затесь пятая	45
Затесь шестая	53
Затесь седьмая	62
Конец ознакомительного фрагмента.	64

# Мирослав Дочинец

## Мафтей: книга, написанная сухим пером

*...и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей.*

**Еккл. 5:14**

*Во имя Мое ты странствовал и пробуждал в оседлых людях смутную тоску по свободе.*

**Герман Гессе**

*Собрал вместе концы нитей, свисающих с его существования, ненужные отделил и отрезал, а сохранил только главные, необходимые, и имеет право сказать, что теперь у него остался на ладони крохотный клубок, который проведет его дальше.*

**Григорий Сковорода**

*Вести с окраин. Удивительные вещи происходят в подкарпатском русинском городке Мукачево. Там исчезают девушки. На протяжении года пропали без вести восемь девиц разных сословий и вероисповеданий. Местная жандармерия сбилась с ног в поисках, а все напрасно. Отправленный на помощь конный отряд жандармов из Кошиц тоже не вышел на след. Магистрат потребовал помощи у Будапешта. Пока столичные детективы проводят поиски, взбудораженное население Мукачева само решило помочь себе. Позвали в помощь известного в долине знахаря по имени Мафтей Просвирник, которого за талант лекаря милуют даже господа-дворяне Большой Мадярии.*

**Газета «Vasárnapi ujság», Будапешт, май 1851 года**

Серия «Ретророман» основана в 2015 году

Перевод с украинского языка *Е. М. Тарнавского*

Предисловие *П. И. Сороки*

Художник-оформитель и иллюстратор *Е. А. Гугалова*

## То, что ты ищешь, ищет тебя

Мирослав Дочинец пришел к читателю пятым большим романом «Мафтей», и усталости в его письме не ощущается. Все та же энергия и напряжение мысли, все тот же блестящий и выдержанный до конца стиль – без всякого насилия, спада, недостатков или следов пота. Мощное дыхание прошлого (писатель любит возвращаться в давние времена и искать там залежавшиеся сокровища), хорошо передан дух времени и мастерски выписаны герои повествования, как и в предыдущих его романах. Здесь ароматы, «воздухи», как говорит автор, акустика и краски. Достаточно прочитать две-три фразы, чтобы понять, кому принадлежит это письмо. Прозаик легко узнаваем, он отточил свой стиль, как говорится, до остроты стилета. У него свой словарь. Неповторимый, особенный. Примечательно, что этот язык так же далек от «чистого» литературного языка, как у Стефаника и Франко. Завязанный на закарпатском диалекте, он, однако, находит и зажигает новые глубины и подземные воронки. К тому же писатель обращается со словом, как гончар с глиной, демонстрируя абсолютный слух и особое чутье лексемы, ее красоты и очарования. Как следствие, он по-настоящему упивается роскошеством и смакованием «хлесткого русинского слова» и дарит эту радость читателям.

Тот, кто любит Беккета, Льюиса, Маркеса, Эко и Фолкнера, примет и Дочинца. «Прикарпатские русины, живя столетиями под чужаками, брали что-то необычное от них и приспособивали к своему, укорененному в глубокие пласты славянского старого мира. Древняя искренняя, мудрая, светлоглазая и высоколобая Русь как ни в чем другом отражается в говоре нашего народа, который сохранил все затеси и сокровища под укрытием карпатских гор. Через меня прошло огромное количество людей разного племени и языка, и должен признать, что местный говор ближе всего строю библейских притч». Так говорит главный герой романа Мафтей, но так сказать о себе может и сам автор. Однако эстетически подготовленный читатель, для которого язык стоит на первом месте, способен упиваться неспешным течением повествования Дочинца, как хорошо выдержанным вином. Но писатель выигрывает не только на этом, но и на умело закрученной фабуле, «живом повествовании», которое имеет «свой обряд».

Главный герой Мафтей – не Шерлок Холмс, Пуаро или Мегрэ, хотя и берется распутать таинственный клубок невероятных событий в провинции на краю Европы, но делает это необычным образом: не столько ищет нужную тропу, сколько верит в то, что верный путь найдет его. Мафтей – философ-любомудр, который много рассказывает, размышляет над жизнью, исследует тайные смыслы и знаки прошлого, пребывая в полной уверенности, что они так или иначе проявятся в настоящем и приведут его к успеху. Его больше всего интересует дорога. Поэтому неспешное развитие сюжета держится вот на таких трех обобщениях, как своеобразных китах: «Куда бы ты ни шел, выходишь из Дома и возвращаешься Домой»; «То, что ты ищешь, тоже ищет тебя»; «Путь – это нечто большее, чем дорога, или хождение, или пережитое, или даже судьба. Ибо не он тебя выбирает, а ты его. Выбираешь направление и идешь. Идешь с чем-то и за чем-то, а оставляешь на перепутье что-то. Это твои вехи в безмерности времени и пространства...»

Две большие тайны сопровождают человека: путь к Богу и к женщине. Кто он, этот мукачевский философ? О себе Мафтей рассказывает много и охотно. «Я зелейник. Травы Господни – мой хлебушек. Мое ремесло. Травничество – заработок непостоянный, ибо челядь в непрестанной работе и нужде хворями не слишком балуется. Поэтому, кроме зелья, меня подкармливает река, чаща и зверье – хорьки... Имя мое – Мафтей. Странное даже для нашего подкарпатского отшиба, где разноплеменная и многоязычная людность кипит, как горный поток. Но имя не от Бога – от людей. А все человеческое – несовершенно. К имени своему я до сих пор не привык, как пес не может привыкнуть к репейнику за ухом. Черноризец Аввакум нарек меня так, ибо явился я в грешную сию юдоль ночью между днями апостола Матвея и великомуче-

ника Фатея. Вероятно, чтобы не обидеть ни одного из святых, Божий человек объединил их одним именем – Мафтей. Как перст и ноготь. Как столб и плечо креста...»

Хорошо выписаны в романе и другие персонажи: восемь девиц, исчезнувшие без следа, старец Аввакум, Данила – дед главного героя, «философ из конюшни», отец Гринь, который раскопал всю гору, мамка Мелана, бабка Злота, Миха-деревач, безумный Циль, тетка Доромбана, купец Жовна из Подолья, монах Клим, Дмитрий Железный и, конечно, красавица Ружена, на которой завязаны основные узлы сюжета. В романе полно шинкарей, торговцев, хозяек, служанок и всякой прочей челяди. В результате книга щедро заселена, полифонична, многоголоса, но вместе с тем удивительно приглушена.

Дочинец не любит слишком распространенных описаний, отделяется в целом несколькими штрихами в описании того или иного персонажа, но какими красноречивыми являются эти штрихи. Как резьба. И человек вдруг предстает перед мысленным взором читателя как живой. «Слова, если их выпестовать, теряют смысл», – отмечается в романе, поэтому лаконичная сжатость, если можно так выразиться, наиглавнейшая заповедь писателя.

В книге время от времени всплывают тени мудрослова Григория Сковороды (так в тексте) и Гатила («Атиллы, бича Божьего»), многочисленных правителей и властителей Карпатских гор и долин, оставивших заметный след в Мукачево. К лучшим страницам книги относятся рассказы об отце и деде Мафтея, аресте и освобождении Алексы, загадочной Ружене, любомудре Аввакуме и других. Они воспринимаются как самодостаточные отдельные произведения (романы в романе), но при этом не выпадают из общей структуры книги. Выписанные мастерски и артистично, можно даже без преувеличения сказать, с гениальным вдохновением, они будто расширяют текст до галактических размеров и читаются с таким нарастающим интересом, что забываешь о пропавших девушках и других завязках повествования.

Стиль М. Дочинца близок к таинственному миру легенд, густому замесу мифов и саг, но ближе всего стоит к притче. «Что высоко держишь, то и цену имеет высокую», – говорит автор устами своего героя и высоко держит свое слово: оно звенит, как стекло (описание работы стеклодува Кизмана легко проецируется на работу со словом), пахнет травами (их перечень занял бы целую страницу) и сохраняет акустику, как готический собор.

Ответы на вопрос: в чем секрет творчества Дочинца, тайна стиля, лучше всего искать в его тексте. «Пиши затесями – коротко и остро, как дерево рубишь, – поучает Аввакум Мафтея. – Нарезай слова из твердого материала и складывай их в плотные, недвижимые ряды... Пиши, помня: слово, лишнее любви, невыразительное и пустое».

Мудрость эта настоящая, глубокая, так сказать, сковородинская, глубоко народная, вековая. Подтекст и надтекст просматриваются во всем, о чем только заходит речь. «Истинный художник создает не поверхность, а потайную сущность», – говорит автор устами своего героя. События, разворачивающиеся в романе, имеют глубинный фон – готическое величие карпатских гор и барокковую красочность рек.

«Прозрачность воздушных уже тонула в воде. Рябое солнце скатывалось с медного неба. Суббота умирала для завтрашнего воскресного дня».

М. Дочинец – мастер небольшого, так сказать, импрессионистически точного и образного мазка. Писатель рисует словами, и чувствуется, что делает он это с какой-то особенной внутренней радостью, будто упивается своим мастерством. В этой книге два крыла, которые двигают ее вперед и возносят в высокое небо духовности, – любовь и мудрость.

Любовная линия завязана на отношениях Мафтея и Ружены (магнетически завязана!), поэтому, собственно, не похищение (гипнотическое одурманивание) Руженой девушек является, на мой взгляд, наиболее интригующим фактом, а глубокий драматизм любви этих двух незаурядных личностей, для которых любовь так же много значит, как свобода и страх потерять ее.

«Истинная свобода – это не сиюминутное познание. Это прочное и мучительное созревание, как у мотыля, который продирался сквозь норы и дупла и уклонялся от клювов. Это переживание и внутреннее измерение, требующие напряжения, терпения, душевного умирания и воскресения».

Приобретенные в горах и широких мирах знания писатель чаще всего подает афористично. И это понятно: сжатые до невероятной плотности, они получают заряд взрывчатости. Все эти бесчисленные крылатые выражения рассеяны на широком поле повествования, как отборное зерно. Собирать их, размышлять над ними, выстраивать в тематические ряды – большая радость для неспешного читателя, потому что, выхваченные из контекста, они ничего не теряют, хотя, вкрапленные в густую мозаику повествования, загораются бесчисленным количеством дополнительных граней.

Писатель не обходит острые углы, не уходит от ответа на болезненные и, казалось бы, неудобные вопросы, которые ставит жизнь, но как бы сознательно ищет их, чтобы развязать, как своеобразные гордиевы узлы, – решать терпеливо и не спеша, но ни в коем случае не разрубывать. Одна из таких тем – еврейство. «Два заманчивых, два спасительных пристанища у русина – церковь и корчма-лавка. Стоят на юру и на распутье, как две вежи извечного выбора. К одной ведет узенькая тропинка воскресной сходимки, а ко второй – протоптанная дорога, и там целыми днями кипит хмельное оживление. Вековой голод души и отравляющее пресыщение плоти... Рядом стоит вкопанный черный крест, и Иисус из-под тернового венца грустно смотрит на те две дороги – спасительную и разрушительную. Два направления, которые тоже принесли в исконные карпатские края всемогущие и вездесущие евреи. «На выбор нате вам: наш товар и наш храм». Как ни обернись – они соль земли нашей. Соль, что в разной степени жжет и питает».

Дочинец не был бы собой, если бы не затронул тему целительства. Здесь она, что называется, на каждом шагу. Мафтей, яко духовный брат деда Ворона, так говорит о себе: «Я не ворон, однако перенял от них обычай замечать необычные вещи. Они из них свивают свое гнездо. Как я теперь – свое гнездо находок...»

Думая о бессмертной душе, проникшись ее загробной судьбой, главный герой романа никогда не забывает о теле. Мало кому Мафтей не посоветует какое-нибудь зелье, редко кого не спасает от болезни и редко в какой главе (автор обозначает их как «Затесь») не ссылается на свои знания целителя и зелельника. Знает даже, как уберечься от смерти, и дает жуткий рецепт.

Мирослав Дочинец – писатель европейского масштаба. Границы родной литературы давно стали слишком тесными для него (хотя не тесны родное слово и духовная культура). Хорошо было бы, если бы его активно переводили и публиковали на других языках. От этого выиграли бы все: читатели, переводчики, издатели и, главное, украинская литература. Такого добра, как у Забужко, Жадана, Андруховича или Дереша, в мире хватает, и поэтому резонанс от их книг не очень заметен, а такого, как у Дочинца, нет больше нигде. Это чисто украинское, удельное, нутряное, это то, что может открыть миру подлинную красоту и силу Руси-Украины.

Хотя в «Мафтее» сюжет вроде не главное для автора и цель его совсем другая, он добросовестно и честно доводит все фабульные линии до логического конца, расставляет все необходимые акценты, связывает все «оборванные нити химер» и сматывает их в «клубок целости»: девушек находят, и они возвращаются домой, жизнь Мукачева возвращается в привычное русло, и мудрый Мафтей приобретает еще большее уважение земляков.

«При сем следовало бы сказать “аминь”, ибо подошла к концу моя сердечная исповедь, написанная сухим пером», – ставит точку Мафтей и вместе с ним автор, а читателя охватывают грусть и сожаление, что все так быстро закончилось.

Но закончилось ли?

М. Дочинец пишет такие книги, которые требуют не только медленного и вдумчивого прочтения, но и непременно возвращения. Знаю по собственному опыту, что, читаемые

повторно, они воспринимаются совсем по-другому или несколько иначе. Такова тайна таланта, сухого пера и большой любви маститого писателя.

*Петр Сорока, член международного ПЕН-клуба*

## Оглавок Тень виноградаря

*«Расскажу вам историю, да такую, что вы не поверите».*

*«Нет на свете такой истории, чтобы я не поверил».*

*Из разговора раввина Элейзара с мнихом Аввакумом*

Вчера вода принесла мне знак.

Все сущее приносит вода, она же его и забирает. Когда я умывался на корточках у реки, моей десницы коснулось перо. Перо неизвестной птицы. Я вынул его из воды и поднес к губам – перо было сухим.

Вот и пришло время, таки пришло! Время исполнить слово, данное Божьему челядину Аввакуму. То есть переродить мое слово обета в слова. И теперь пришел за это спрос.

Река притихла, ожидая моей отваги. Я поднялся и огляделся, как перед дорогой. С чего начать? Как и куда двигаться? И куда идти?

Сухое перышко не имело веса, зато тяжелой, как никогда, была моя десница. Рука, которая брала и отдавала, карала и ласкала, «губила» и созидала. Теперь должна еще и заговорить. Чтобы исполнилась, чтоб замкнулась в исповеди правда моего земного перехода.

Так постановил Божий челядин, тот, который кормился яблоками, а меня кормил духом.

Тогда мы стояли на Гнилом мосту, и он изношенным посохом сбрасывал в реку желуди, они черкали по плесу, как камешки. А за ними падали его твердые слова.

– Ты напишешь – это и будет оправданием твоего бытия. Placet<sup>1</sup>! Быть посему.

– Почему я?

– Потому что ты – Божий сосуд, в котором Он хранит свое слово.

– А не слишком ли хрупкий сей сосуд, отец мой?

– Понятно, что так. Зато он всегда теплый, и слово не остывает.

– Кому я должен это писать? – слабо спросил я.

– Хм, кому? *Писать для мудрых – нет нужды, для дураков – глупо. Поэтому – для себя самого, чтобы познать роскошь творения, которое содержит в себе что-то от дурня и мудреца. Удивление к себе самому...*

– Но ведь... ты сам меня учил не сеять слова...

– Я тебя не к этому призываю.

– Как же обойтись в письме без слов?

– Укроти ум – пиши сердцем.

– А разве сердце – пузырек с чернилами? Я умею смешивать напитки радости и погибели, но никогда не смешивал чернила...

– Сухим пером напиши. Sapienti sat – умному достаточно.

– Как же это – сухим пером? – дернулся я. – Разве так кто-то делает?

– Наш Учитель не оставил ни одного слова чернилами, а Писание его распространяется по всему миру. Разве не учил я тебя, что высказанная правда теряет, а переписанная чернилами искажается. Правду знает только верное и безошибочное сердце.

---

<sup>1</sup> Решено (лат.).



*«Удивительные вещи происходят в подкарпатском русинском городке Мукачево. Там исчезают девушки...» (стр. 8).*

*«Вчера вода принесла мне знак.*

*Все сущее приносит вода, она же его и забирает. Когда я умывался на корточках у реки, моей десницы коснулось перо. Перо неизвестной птицы. Я вынул его из воды и поднес к губам – перо было сухим...» (стр. 9).*

– Но мое ли это сердце, учитель?

– И твое тоже. Бог создал нас, чтоб мы были Его соглядатаями на земле.

– Ой ли, я и буквы, которые вы научили мене выписывать, почти забыл, – хватался я за последнее спасение.

– Что там буквы, – Аввакум стукнул палицей. – Буквы – мертвечина, сухие черви на сухой бумаге. Смысл рождает не буквы, а дух. С ним начни и с ним заверши.

– Я не готов, отче, – искренне сознался я.

– Знаю, человек никогда не бывает готов, пока не подпоясанный Божьим духом.

– Легко сказать, а я даже не знаю, с чего начать.

– Коли не знаешь, с чего начать, начинай ab ovo – с самого начала.

– А где находится это начало? – вздохнул я.

– Там, где завязывается конец, – утомленно ответил Аввакум.

Его ответы часто были похожи на кувшин без ручки – поворачивай каким хочешь боком.

– Кто же надоумит меня, как вести свой сказ? – не унимался я в растерянности.

– Как писать... Слышишь тюканье древоделов, которые цифруют<sup>2</sup> церковь в Замлине?

Слышишь перепевы топориков: одна затесь, другая затесь, третья – и дерево покрывается резьбой... Пиши затесями – коротко и остро, как дерево рубишь. Нарезай слова из твердого материала и складывай их в плотные, недвижимые ряды... Пиши, помня: слово, лишнее любви, невыразительное и пустое.

Вода гладко разносила звук топоров и долот. А мой нос угадывал, что дергали бревна чуть привядшего ясеня. За кривулей реки, недалеко от Аввакумового скита, виднелся седой крест. Берег кипел мелким лиловым цветеньем. Весь простор оделся в цвета пестрой зелени.

<sup>2</sup> Цифровать – украшать.

Все, кроме яблони-кормилицы над его пещерой. На Покров дерево засохло да так и не ожило в яри<sup>3</sup>. Ворона летала над крестом и садилась то на одно, то на другое плечо. Я понимал, о чем говорит сей знак, и печально молчал. Уходил наставник моего земного следа, мой сердечный советник и друг. Кто будет направлять мое движение дальше? Никто, кроме Господа.

Кончик посоха, не находя более желудей, отыскал ямку в зыбкой доске. Трухлявое дерево легко долбилось.

– Этот мост скоро упадет, – печально молвил пещерник.

Я кивнув головой. Мне не жаль было Гнилого моста. Жаль было другое. Гнилой мост – это мое просвещение. Мой мостик над водой в мир, из глубины старовека – к простору мысли. Тут проходили наши с ним часы, пронизанные счастьем познания. Но теперь не об этом речь...

В тот предсказанный день, в последний раз молча поклонившись, Аввакум пошел к своей мертвой яблоне. А я долго еще оглядывался на тощую, сломленную фигуру, поднимающуюся в гору. Уже тогда я точно знал, что человек этот и есть гора. И понимал, что он оставляет меня самого плавать на большой воде.

*Лоза любит тень виноградаря.* Так он сказал однажды. С тех пор я живу в его тени.

Так научи меня, Господи, косноязычного в слове и криворукого в писании, положить на бумагу эту исповедь, чтоб исполнить обет чтимому челядину<sup>4</sup>, зиждителю сокровищ моей души и светлости любомудрия. Аминь.

---

<sup>3</sup> Ярь – весна.

<sup>4</sup> Челядин (закарт.) – человек.

## Затесь первая Вечерний визит

*Возьму топорышку, срублю деревяшку.  
Пущу деревинке зелену кровинку.  
Излечи ты, кровушка, сердце изболевшее.  
Сдержу до конца я заветы отца.*

*Стихоплет из Нижнего Шарда писал*

Ежели мне судилось поведать это, то надлежит начать. С самого начала.

С высоты (или может, низины) своих злоключений смотрю я на то лето, аки на круг, что замкнулся ожерельем хлопотных дней, – их он отнял от сладкого отшельничества и окунул меня в суету мира. И я, к своему удивлению, поддался этому течению, сам себя оправдывая: если и бороться, то за добро, а не против зла. И пустился со своего нагретого Белебня, как старый орел, который тратит силу крыльев, зато владеет силой ветра.

*Пережитое выветрится, как туча, а записанное останется духовным завещанием твоего сердца.* Тоже слова Божьего челядина.

Моя обитель приколочена к побережью Латорицы ступнями моих прадедов, заговорена их живой беседой, что тянется из древних времен, как вода из-под кадуба<sup>5</sup>. Мое родовое наследство дедов, мой любимый мирок. Мы, Просвирники, издавна селились возле реки. Рыбы ели много – потому и умные, так люди говорят. Река и дерево мне носит. Бревна, облизанные водой, выбеленные солнцем и хрупкие, как ребра лесного скелета. На живое дерево я бы руку не поднял. Потому что, кроме добра, оно мне ничего не сделало. Есть недобрые люди, а деревьев плохих нет. С крутого Белебня по склону горы к моему дворищу скатываются яблочки, груши и сливы. А орехи сеют вороны. Что касается светских новостей, то их мне тоже приносит вода. Как и в тот раз...

На изломе мая, еще до молодого месяца, установилась теплая и ясная, как глаза ребенка, погода. Тепло уже вошло в силу – ярию наполнил день. Ноги просились из обувки на волю. Нагретая плоть трепетала от кусающей, как пчелиные жала, муравы. Э-ге-гей, моя травица-косица! Принимай меня еще одним кругом и неси на своей гриве в зеленое приволье, и не дай стоптаться прежде времени!

Когда Богу скучно, он открывает окно и смотрит на окраины Мукачева.

Тут и моя полнота сердца, свет очей моих. Тут и началось.

Я сидел возле фундамента, грел камень. Солнце теплой кистью рисовало медовые шнурки на моих веках, щекоотало губы, как шаловливая девица. Поизносились, стали тонкими мои веки. Лучики сеются сквозь них, как сквозь крылышки стрекозы. Оно и не удивительно: семьдесят лет неумно хлопать глазами, замечать неблагоприятное в мире, перецеживать зримое, впитывать глазами пространство и заключать в них загустевшее время... Вы, дедуля, говорят, и сквозь веки видите. Ведун! Смешные людишки. Им лишь бы до чудесного дотронуться. Хотя бы языком. Не дойдет до простых, что *чудесное как раз без чудес. Не утолишь жажды чуда, пока сам не взлелеешь чудо в себе...*

Живу я в Зареках сам, как нос на лице. Вверху чаща, сбоку – стены монастыря, внизу – кривуля реки с протоками, лайдами<sup>6</sup>, заостровцами, висками, рукавчиками, подводными кар-

---

<sup>5</sup> Кадуб – источник.

<sup>6</sup> Лайда – заболоченный луг.

гами, излучинами, изломами, коленцами... Я – как пустынножитель, окутанный заповедной защитой от мира. Время как будто забыло обо мне. Но не люди.

О чужаках первым дал знать Марковций. Он хоть и старый ленивец, но чутье не потерял. Вылез из соломы на сточенный ветром дымоход и тоненько гавкнул. Дальше я узрел, как из осокорей на том берегу поднялся дым голубей. За вербником не видно было лодку, но каркнул над плесом грач – значит, что-то сейчас плыло. Собаку я не держу, мне вместо пса птицы служат. Вскоре ухо поймало плеск весел.

Когда еще был Гнилой мост, сюда приходили пешком. Теперь добираются по воде. Раньше, пока ступали по доскам, я на слух узнавал, с чем идут люди. Бывает, ноги скажут больше, чем язык. С чем же могли ко мне идти, если не с бедой.

И вот теперь... Те двое, что гребли, – гребли слабо и вразнобой. Один, слышалось, страдал от духоты, второй – просто ленивые, слабые руки. Да еще мешал им тот, что сидел на носу лодки. Своим обременительным присутствием мешал, тяжелым сердцем. Лодка плавно идет, когда гребцы гребут одним духом. А так... И это смятение человеческое направлялось ко мне.

Приплыли. Кислоокый человек прыгнул в воду и вытянул лодку на сухое. На устланной попоной корме сидел бетяр<sup>7</sup> в зеленом кафтане з червленными петлицами. У него было хмурое жесткое лицо правильной лепки. Не вставая, крикнул мне по-мадьярски:

- Мне нужен человек с хорошо видящими глазами.
- Большинство людей зрячие, господин, – неохотно поднялся я.
- Эге, зрячие, но не ясновидящие.
- Существует лишь то, что замечают другие, – сказал я.
- Говорят, что ты видишь на три локтя в глубь земли.
- Так глубоко даже крот не залезает...



*«Моя обитель приколочена к побережью Латорицы ступнями моих прадедов, заговорена их живой беседой, что тянется из древних времен, как вода из-под кадуба. Алое родовое наследство дедов, мой любимый мирок...» (стр. 14).*

<sup>7</sup> Бетяр – уважаемый человек, вельможа.

*«С крутого Белебня по склону горы к моему дворищу скатываются яблочки, груши и сливы. А орехи сеют вороны. Что касается светских новостей, то их мне тоже приносит вода...» (стр. 15).*

Липкий взгляд печальных глаз вцепился в меня. Я узнал эти глаза – видел их на нарисованном портрете в комнате жены бургомистра, которая тайно велела привести меня для лечения ее нутра. Трижды являлся я туда в указанное время. Пока из ее чрева не исчезла опухоль. Хозяйка, молодая красавица, говорила со мной по-нашему. Покраснев, попросила странное: не мог бы я что-то сделать с ее... мочой. «А что с ней надо делать такого?» – «Ну, чтоб она стала другой...» – «Какой же: чтобы светила ночью, как кошачья?» – «Нет, чтобы пахла...» – «Как же ты хочешь, госпожа, чтобы твоя моча пахла, – спросил я. – Может, розой?» – «О, это было бы великолепно...» И я сознался, что знал лишь одну женщину, чья моча пахла розами. Но на такое надо решиться, потому что легко можно сжечь себе все внутренности. Придется пить скипидар. А у нее и так здоровье слабое. Я бы ей не советовал такое делать... В исповедальной искренности метресса<sup>8</sup> открылась мне, как безумно любит своего мужа и как выискивает разные заговоры и колдовство, чтоб не охладить его пыл. Я сказал, причем совершенно правдиво, что Бог щедро наградил ее как женщину и не надо искушать судьбу поиском химер. «Свет не имеет тени, любезная хозяйка, и свет этот с вами...» Это ее несколько успокоило, и она спросила, кто та женщина, которую я вспомнил. Ну та, что пахла... розами. На это я ответил, что время выветривает былое и я уже мало что помню, кроме имени ее – Ружена. Я, вестимо, врал хозяйке, а еще больше самому себе... Жена бургомистра, кстати, хорошо говорила по-нашему. Мы тихо беседовали, а со стены цепко держали нас под присмотром властно-печальные глаза. Глаза господина, который привык владеть всем, что видит вокруг. Тепер эти глаза прилипли ко мне.

– Еще мне сказали, что ты лечишь людей, – начал гость, макая перст в воду.

– Господь лечит, коли на то воля Его.

– Человек, – вскипел пан, – ты хочешь меня разгневать?!

– Ой ли, это вы с гневом пришли на мой берег. Вам бы глотнуть настоя из богородского цветка...

– А говоришь, что не лечишь, – остудил он свой гнев, в то же время освежая водой и лицо.

– Не я лечу, а зелье. Божьи травы.

– Пусть так... Но не с гневом я пришел к тебе, а с отчаянием.

– Это, господин, почти одно и то же.

– Суди, как знаешь, я тебе не буду перечить, но выслушай и ты меня. Услышь мою беду.

---

<sup>8</sup> Метресса – здесь: госпожа, хозяйка.



*«Живу я в Зареках сам, как нос на лице. Вверху чаща, сбоку – стены монастыря, внизу – кривуля реки с протоками, лайдами, заостровцами, висками, рукавчиками, подводными каргами, излучинами, изломами, коленцами...» (стр. 15).*

*«Дальше я узрел, как из осокорей на том берегу поднялся дым голубей. За вербником не видно было лодку, но каркнул над плесом грач – значит, что-то сейчас плыло...» (стр. 16).*

Скинув кафтан и подбитую куницей шапку, тяжело взошел он на сушу. С непокрытой головой, сгорбленный, в одной рубашке, с лицом черным, как огарок, – выглядел, как будто ударила в него молния. Судорога сердца сбивала его дыхание. *Богатство только источает людей, но глубоко в них не проникает; внутри они голые.* Человек шатко ступал по песчаному берегу. Глянцевому блеска сапоги воняли настойкой чеснока на паленке<sup>9</sup>. Вот что унюхал мой Марковций! Я двинулся за ним, понимая, что бедолага должен освежить свои мозги, чтобы достать оттуда нужные слова.

То, что он рассказал, я выслушал, а река это знала уже давно. Почти год, как Мукачево давила эта пришта<sup>10</sup>, эта жуткая неизвестность. Над городом хищной петлей висело тревожное ожидание жертвы. На прошлую Пасху исчезла первая девица. На Вознесение – вторая. На Петра – третья... Цепочка тайных исчезновений вилась далее и вот дотянулась и до владения бурмистра. Пять дней как пропала их единственная дочь, побежала к скорняку примерять новый лайбик<sup>11</sup> – и как иголка в сено. Восьмого числа исчезла бесследно...

Слова хрипло рвались из его груди, и я еле улавливал суть разговора. Челядь перепахала проволочными кошками дно Латорицы, перерыла окрестные дубравы и пущи, жандармы перетрясли вертепы, варнацкие<sup>12</sup> кучи и нищенские ямы – голо. Нет ни следа, ни духа.

По комитату<sup>13</sup> шныряют конные вояки из Кошиц и чиновники из Дебрецена. Молва докатилась и до Пешта. Оттуда явился следователь, натасканный в таких делах. Что-то вынюхивает, но нет пока даже маленького следа. Исправники свое прядут, а община единодушно твердит: проведай Мафтея, того, что за водой, – может, он заметит какой знак...

<sup>9</sup> Паленка – водка.

<sup>10</sup> Пришта – беда, забота.

<sup>11</sup> Лайбик, лейбик – жилет.

<sup>12</sup> Варнак – беглый каторжник.

<sup>13</sup> Комитат – историческая административно-территориальная единица Венгерского королевства.

– Вот я и здесь. Стою, как на льдине. Что скажешь, добрый человек?

– Скажу, что мне на самом деле дороги не сами вещи, а знаки вещей. Однако коз в золоте не буду тебе показывать. Не мой это удел – за девицами гоняться. Старый я уже для этого. Посему не будем терять время Божье, ни твое, ни мое... – Я повернулся, чтоб уйти.

– Твоя воля, разве к такому принудишь... Но сжался над разбитым сердцем и скажи, ежели ведаешь: хоть жива она, моя Эмешка? Можешь это сказать?

– Могу. Когда своими глазами увижу ее живой.

– И ты не знаешь... Никто не знает, кроме Господа... – упал на колени, а лицом зарылся в молодые хвощи. Плечи под мокрой рубашкой содрогались.

– Тебе, человеке, надо бы одеться, – сказал я, – ибо еще дыхавицу<sup>14</sup> подхватишь. Эй, принесите господину одежду!

Из лодки принесли кафтан и шапку, неуклюже натянули их на дрожащее тело. Я смотрел и обдумывал то, что он раньше рассказывал. Человеческому сердцу нужна поддержка, а как же. Я коснулся его чуть посеребренной гласницы<sup>15</sup>.

– Скажи-ка, мил-человек, а что с тем лайбиком?

– С каким лайбиком? – спросил он сквозь всхлипы.

– А с тем, что дочь примеряла в день пропажи.

– Да что с ним. Подождала, пока дошьют, оделась, покрасовалась перед зеркалом и пропала навеки. Я скорняку заплатил, разве человек виноват? Шкуру с двух ягнят выделывал. Мне не жаль ни денег этих, ни лайбика, я по ней тоскую, по своей многоценной Эмешке.

– А других семи девиц, русинок, тебе не жаль, властелин? Ты же императором и Богом поставлен, чтоб их всех пасти равной мерой. В семидомишках, хоть и бедных, но такая же скорбь...

– Не рви мне сердце, человеке. Будь проклят тот день, когда я согласился принять пост в этом городе.

– Не проклинай место, где живешь, потому что проклятие прививается. Сам видишь...

– Ой вижу. Вижу сквозь слезы кровавые.

– Говоришь, лайбик забрала и была рада... Жива твоя дочь. Жива.

Человек встрепетул, вскинул на меня глаза, сразу ожившие, с пронзительным блеском. Надежда упрямая, она и на камне родит.

– Ты это сказал... ты... слова твои, как золотая роса. Возрождаешь меня заново, отец родной.

– Оставь, высокочтимый. Достаточно росы на твоих штанах. Вставай уж на ноги.

– Я встану, встану. Правда, не встанет моя любимая жена. Отняла у нее ноги та злая весть. И сон забрала, и тягу к еде, и к жизни... Угасает, как свечка, русиночка моя. Я ее девонькой из Тересвы забрал, из дома предводителя бокорашей<sup>16</sup>. Вопреки своей знатной старшине<sup>17</sup> женился на простачке. А ты говоришь...

Я слушал вельможу, думал свою думу, и Бог читал в моей душе. Я не спешу, и я не медлю – я двигаюсь, как вода, как время. Таким я стал на этой реке, на ветрах долговременья. Вне человеческого потока, который я своей волей перегородил ради сладкого одиночества. Это моя крепость: она стоит на вершине горного хребта среди облаков, как гнездо орла; никто не может завладеть ею. Таков уж я у Господа. Но рад ли сам Господь этому?

Блаженной памяти Аввакум, тот тоже жил в норе, но духом соседствовал с нами, серыми, наполнял миром просвещения наши головы. Казалось, что русинская беднота роднее ему мона-

---

<sup>14</sup> Дыхавица, дыхалка – астма.

<sup>15</sup> Гласница – висок.

<sup>16</sup> Бокораша – сплавщики дерева.

<sup>17</sup> Старшина – родители.

стырских братьев, которые считали его главным исповедником. «Вас Дух-утешитель держит за руку, а в этих, малых, только и того богатства, что веры с горчичное зернышко. Лелеять его надо». Им сказал, а меня вдохновил другим: *«Мир не переломил. Преодолеть его черноту можно, лишь создав новую светлость»*. Вот я и светил себе, раздувал мизерный огонек радости в светлость благодати. Тут, на привольном солнцепеке, за стенами, за чащами и водами. И мир ловил меня каждый раз все реже...

Эх, человечек, ты умеешь читать следы зверей и гадов, а книгу жизни, с тех пор как ушел Аввакум, почти и не раскрываешь. Благодарить за свое жилье, дар бесценный, и не сокрушаешься, что там, в грешной юдоли, бедняги бьются за каждый день жизни. Ты желудем оторвался от древа, нашел себе защищенное гнездышко и забыл, что носишь в себе семя. Не даешь ему прорасти, поправ все законы. Быть живой частью целого – разве не самое большое захватывающее таинство жизни! Помогая миру, помогаем себе. Помоги, оторви зад от каменного Белебня. *«Место, которое не покидаешь, которое привязывает тебя, и есть твоя темница, тюрьма по доброй воле»*. Разве это не Аввакум говорил, не твой ли наставник, по кому и донине ты сверяешь шаг?..

– Хорошо, – неожиданно для себя отважился я. – Не даю слова помочь твоей беде, но попытка денег не стоит.

– Я твой вечный должник, – как безумный, дернулся ко мне бурмистр. – С чего ты хочешь начать, за что думаешь ухватиться?

– Еще не знаю, – пожал я плечами. – *Птицу надо хватать тогда, когда она садится на землю*.

– Да, так, так, – мелкой лихорадкой дрожали его губы. – Мне сказали, что ты говоришь мало, а коли говоришь, то не договариваешь до конца.

– А ты знаешь, где конец? Я нет.

Может, он был и не глупый, тот человек. Ведь больше всего глупостей говорят умные люди.

Назад лодка плыла легче – везла надежду.

Вода притягивает сумрак раньше, чем земля. На носу довбанки<sup>18</sup> зажгли фонарь – и на посеревший плес вдруг упали тени. От человеческих фигур, весел и бортов. Лишь сам фонарь на шатком суденышке не бросал тени. Так как у света тени нет. Только свет.

Люди отошли – и пустота сгустилась на моем посаде<sup>19</sup>. Привычная, но на сей раз какая-то чужеродная. Будто река оторвала кусок моего родимого берега. И Марковций не откликнулся, не охотился за мышами в соломе. Видать, к ранней студеной росе. И звезды в небе танцевали к холоду. Не зажигая огня, я вошел в горницу, украшенную зеленью. Трое детей живут в этой хибаре – я, Дух луга и Время. И нам здесь уютно, как у отца-матери за печкой.

Сон мой запекся в эту ночь. Долго не приходил, пришлось звать его молитвой.

«Господи, дай узнать Твою волю. Дай понять, что Ты благоволишь моему намерению. Дай знать, что ведешь мою душу».

---

<sup>18</sup> Довбанка – лодка, выдолбленная из цельного куска дерева. Долбанка.

<sup>19</sup> Посад – двор.

## Затесь вторая Саламандра на дне

*Если мысли не загадка и не разгадка загадки – они ничто.  
Выбито в опочивальне Игнатия Мартиновича*

Проснулся я с окончательным решением, обглоданным за ночь недреманным разумом. Двинулся к роднику. Роса обжигала ноги стужей. Жаль было нарушить стекло воды, но я должен был остудить и чело. На дне источника затаилась саламандра, вестница чистоты. Я глотнул из ладони и увидел в зеркале родника свое отражение. Я ли это? Живешь так неторопливо и тихо, как саламандра на дне ровенника<sup>20</sup>. Человек, который уступил власти времени и остался пред ним беззащитным. И время лепит из него то, что хочет. Иногда заставляет проживать еще раз прошлое, а грядущего не дает вообще. Только неясный и неслышный поток тягучести нынешней поры. Единственное мое сокровище. Добросовестно и неспешно прожитый день – вот глина, из которой лепится выносливый человек...

И вот он – мой новый день.

Кто-то старается себя чем-то занять. А кто-то просто живет. И я сей день проживу среди людей. Потому что предписано: *«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов»*.

Из своего отруба я вышел на открытое пространство сквозь пролом в стене монастыря, заглушенный кустами свербиги. О нем знал только я и Марковций, который ходил сюда на охоту. Была ранняя, уже светлосорая пора, время молочников и огородников. Они стягивались из ближних сел с кошами и тележками, направлялись к Каменному мосту. Живой шнурочек простонародья в армяках и сукманах<sup>21</sup>, отдающих сладковатым запахом молока и навоза. Хотя земля с ночи была еще студеной, лапти и стоптанные башмаки они бережливо несли в руках, чтобы за мостом натянуть на ноги и так ступить на чистую брусчатку. За неряшливость босоту могли огреть жандармским батогом-нагайкой. Челядина без обуви и с нестриженной головой могли не пустить на торговую площадь, а господа, которым еду носили домой, еще и на руки поглядывали – не слишком ли черные. Некоторые хуторяне перед мостом поворачивали к воде и старательно терли их мелкой щебенкой и косичками жабьего мыла. Девки рвали мяту и засовывали между толкачиками со сметаной и самокишем. Изголодавшееся за ночь Мукачево ожидало их белые, как сыр, бесаги<sup>22</sup>, тучные крапивные мешки, пропитанные зеленой росой.

В замлинской корчме я купил стаканчик вина. Вино помогает познавать людей. А мертвые лучше всего раскрывают живых. Поэтому я пошел в сторону кладбища. Там сзади к старой часовне лепилась будка мастера похоронных дел Трусняка. Застал его дома. Где же еще ему быть, когда во дворе свежий покойник. Мертвец лежал в неструганном деревище<sup>23</sup>, притруженный деревянной стружкой вместо покрывала.

– На каждой мелочи выгадывают грош – мертвый не осудит, – буркнул Трусняк, не имея привычки здороваться и прощаться. Оно и не удивительно: его заказчики не из разговорчивых. Зато у него самого – язык, как помело.

– Хорошо хоть у этого глаза маленькие и узкие – поэтому и меньшая монета подошла, чтобы прикрыть их. Дешевле обошлось, – откровенно радовался гробовщик.

Зато у самого глаз привычный – сразу увидел посудину в моем кармане. Вдруг пригласил:

---

<sup>20</sup> *Ровенник* – ров, колодец.

<sup>21</sup> *Сукман* – суконная одежда.

<sup>22</sup> *Бесаги* – двойная сумка через плечо.

<sup>23</sup> *Деревище* – гроб.

– Садись, Мафтей, чтоб у меня добро садилось.  
– Твое добро, видится мне, не сидит, а лежит...  
– Хе-хе-хе. Твое бойкое слово я своим покрою: белая редька, да горькая. Труд сей оке-  
янный, сам знаешь.  
– Не знаю, бедняга. Я людей лечу, а не закапываю.  
– Да-да, лелеют, кормят, милуют, лечат, а я выкопаю яму на семь ступней и положу на  
веко комок земли – нате! Каждому выделю.

– Щедрый ты человек.

Грбовщик оскалился съеденными, как старые грабли, зубами. У него было страшное  
лицо, а когда смеялся, то еще страшнее. Наверное, никому из ремесленников не подходило  
лицо так, как ему. Если бы, чего доброго, мертвец поднялся из гроба, то умер бы снова.

Я нацедил вина в засаленную кружку. Чувствительные ноздри его встрепенулись, как  
крылышки у мотыля. А губы присосались к краешку, как к сладчайшей груди.

– Чую, тебе новая работа будет, – начал я издали. – Город гудит, что восемь душ погуб-  
лено. Одна за другой, цугом...

– И что с того, а тела где?! – огрызнулся Трусяк, будто у него кто-то вырвал из рук питье. –  
Смерть, она порядок любит. Уважение к себе. Чтоб мощи обмыли, украсили, положили в дере-  
вище, – ударил он кулаком по доске так, что даже волосы у мертвеца качнулись. – Положено  
отпевать по закону, закопать, насыпать могилку, над которой слезу можно пустить, посадить  
скипец<sup>24</sup>. Умереть – не шапку слив нарвать. Это жизнь – мука, глум и греховодство, а смерть  
– дело серьезное, можно даже сказать, праведное. Ее, хорошую, еще и заслужить надобно. Не  
зря же молимся: избави нас от внезапной смерти... А эти ветреницы... Куда их занесло, ты не  
знаешь? Крещеный человек умирает как положено. С крестом на груди и мо... мо...

– Монетой на глазах, – подсказал я.

– Н-н-нет, с молитвой на устах... А они куда запропастились?

– Куда?

– Куда выветриваются босоркани?<sup>25</sup> Тебе лучше знать, потому что живешь ближе к лес-  
ным чащам и ко всякой нечисти.

– В чащах больше чистоты, нежели на улицах... – вставил я. – А девицы, говорят, все  
облеленные<sup>26</sup>, из добродетельных семей.

– Вестимо, благочестивы, как херувимы... И на небеса вознеслись. А крестики не взяли,  
чтобы их не обременяли.

– Что ты мелешь, дурилка?

– То, что слышишь. Сами пропали, а нательные крестики их остались.

– Откуда ты знаешь?

– Кому знать, как не мне. Кто смерти служит? Я, глупый, долго еще надеялся, что тела  
их придут ко мне в руки, узнавал, подкупал соседей... Человеческое существо должно след  
оставить. А тут ни волоска, ни кости. Бог забирает душу, но не плоть. Кто же их забрал? А?  
Нечистая это приключка, Мафтей, темная, как восьмая ночь. Немзой<sup>27</sup> тут пахнет... Но мне-  
то что до того. Мое дело есть, спать и ждать. А тут мне не обломится... Не знаю, правда, в чем  
твоя выгода. Что ты вынюхиваешь?

– Нет у меня для тебя ответа, Трусяк, ибо и сам не знаю. А когда такое со мной случается,  
то обращаюсь к размышлениям праведного Аввакума. Помнишь его?

---

<sup>24</sup> *Скитец* – саженец, деревце.

<sup>25</sup> *Босорканя, бесица* – ведьма.

<sup>26</sup> *Облеленные* – послушные, порядочные.

<sup>27</sup> *Немза* – неприятность.

– Да как же не помнить? Когда еще в силе был тот Божий человек, то отпевал самых уважаемых покойников Мукачева. Какие то были проводы! Сахар, а не похороны!

– Пускай так, но он больше любил живых. Вот какой сказ он мне как-то поведал. *Приходит пустынный (а он, Аввакум, и сам был пустынным) в сад и пускается ловить птицу. Ловит, а птица убегает. Какой-то человек наблюдает за ним и в конце концов говорит: «Зачем ты это делаешь: все время приходишь и ловишь?» А тот отвечает: «Я прихожу в сад для того, чтоб ловить и не поймать...»* Вот такая короткая история.

– И все? – вытаращил затуманенные хмелем глаза гробовщик.

– Все. Но ты не бери себе в голову.

– Я и не беру. Я тяжелого в голову не беру.

– Легко носить пустую голову... – согласился я и ушел не попрощавшись.

С кем? Трусяк, выхлебав литр, дремал уже. А покойнику меньше всех было нужно мое прощание. А прощание и того боле.

– Эй, братец! – догнал меня за изгородью крик гробовщика, который и по пьяни не забывал о своей выгоде. – Коли тебе удастся там что-либо найти и я получу в оборот восемь костей, то за каждую отстегну тебе пенго<sup>28</sup>. А за бурмистрову – два. Это неплохая денежка на нынешний день. Подумай...

– Подумаю. Хотя меня больше интересуют не кости, а души.

– Ну, а твой упровод<sup>29</sup>, если Господь призовет тебя раньше, будет за мой счет, как я и обещал. Трусяк изо рта не делает задницу.

Я вспомнил, что обещал гробовщик. Лет пять назад, в дождливую осень, упал Трусяк в колдобину и, пока выбирался, заоченел. Ко мне привезли его в свежем гробу, чтобы не нанимать фиакр. Отлежал неделю и домой вернулся своими ногами. А деревище оставил, долго царапал по нему ногтем: «Доска из настоящей лерфи<sup>30</sup>. Кость, а не дерево. Розовая и гладенькая, как девичья грудь. В такую и графа не стыдно положить...» Наконец, он победил скупость и решил, что гроб будет мне платой за лечение. «Пусть ожидает судного дня», – изрек печально. «Подождете», – сказал тогда я. И живу себе дальше.

Трусяк, как и большинство челяди, обходился со мной угодливо, но в душе дружеских чувств не питал. Я лечил и вылечивал людей, спасал их от смерти, собственно, забирал лакомый кусок из его рук. То есть на поле юдоли человеческой мы были соперниками и даже недругами. Он смерть звал, а я ее побеждал, зная, как страшен каждому ее холод и непонятна безграничная суть.

В городе было полно народу. Люд кипел на всех четырех сквозных улицах. Я стал на площади под черным дубовым крестом и осмотрелся. Аввакум рассказывал, что в старину здесь стоял позорный столб, к которому для общественного порицания привязывали воров и неверных жен. А когда пришли на нашу землю с искрой Христового света солунские братья, святые Кирилл и Мефодий, то именно здесь произнесли они первую свою речь. И после этого три дня и три ночи лил дождь. И отбелили тот столб небесные струи, будто отмыли его от патины злодеяния и преступления. Тогда же прибили к нему мореные в соли дубовые плечи – и появился во славу солунских просветителей крест. Будто из серебра вылит. Но со временем он тоже почернел, вбирая в себя грехи человечества. Как белые дворцовые стены вбирают пыль, копоть, жирный дым и прелость невымытых тел...

Город покрывлся коростой, завшивел, завонялся пуще прежнего со времени моего последнего визита. По шанцам в Латорицу текут дерьмо и помои, мерзость летит из окон на головы,

---

<sup>28</sup> *Пенго* – денежная единица.

<sup>29</sup> *Упровод* – похороны.

<sup>30</sup> *Лерфа* – кедр.

в дуфортах<sup>31</sup> варится в котлах смола, отбеливается полотно, кипят стиральные бочки, мнутся в едких квасцах шкуры, лепятся горшки, куются кони, стригутся овцы, жарятся на вертелах рыба, птица и зайчатина, льются вино, пиво и кисель. Тут же бреют, стригут, вправляют кости и вырывают зубы. Роится торг, бурлит промысел, гудят колокола, шумят бубенчики, жужжат мухи, цокают подковы и скрипят колеса, перекликаются женщины, буянит пьянь, блестят монеты, кольца, зубы и глаза. И всем здесь привольно и уютно, как ракам в верши, – и тугодумному русину, и предприимчивому жиду, и заносчивому мадьяру, и степенному швабу, и косоглазому цыгану, и скрытному валаху...



*«На дне источника затаилась саламандра, вестница чистоты. Я глотнул из ладони и увидел в зеркале родника свое отражение. Я ли это?» (стр. 25).*

*«А когда пришли на нашу землю с искрой Христового света солунские братья, святые Кирилл и Мефодий, то именно здесь произнесли они первую свою речь. И после этого три дня и три ночи лил дождь...» (стр. 30).*

Я стою в этой толпе, как слепец среди воды, – где брод? Об меня трутся кунтуши, гуни<sup>32</sup>, арияки, вуйоши<sup>33</sup>, кабаты<sup>34</sup>, мешки и сумы. А под ногами целой бандой беспрепятственно гуляют крысы. Когда-то я губил их всю во дворах и истреблял в домах блох, тараканов и комаров. Находил водоносные жилы под общественные колодцы и пробивал подземные проломы, куда можно сливать ненужное. Обработывал ямы известью для умерших от сыпняка и корелы<sup>35</sup>. Теперь же, когда и зовут в город, то разве что снять залом или колдовство в доме или открыть «замороженное поле» со связанными крест-накрест колосьями. Завонялась и духом мирщина – колдуют, ведьмуют, постытятся на черную свечку, заговаривают, проклинают, вещают разную чушь. При этом чинно в храм ходят. Но к Господу ли? Богу свечку, а черту ладан. На две души живут. Но заглядывая в бездну – притягиваешь ее.

<sup>31</sup> *Дуфорт* – открытый двор, пассаж.

<sup>32</sup> *Гуния* – плащ, накидка.

<sup>33</sup> *Вуйош* – короткая куртка белого цвета.

<sup>34</sup> *Кабат* – куртка, короткое пальто.

<sup>35</sup> *Сыпняк* – тиф, *корела* – холера.

А базар клокочет. Стою и присматриваюсь. Правда, не к рыночной толпе – к детям. Мертвые рассказали все, что могли рассказать. И что не могли. Теперь за детьми очередь. Сказано: слушай юродивых и детей, они Богом пахнут.

Ребятня тоже хлопотала в работе и, как все дети, обращала ее в игру. Скакали наперегонки среди навоза: кучек конских кремьяхов, коровьей балеги и овечьих бобалек, а тогда наклонялись – один с лопаткой, а другой с мешочком – запасались удобрением. Большое подспорье для маминой грядки. Черную работу делали с радостным визгом. И мак черный, да сладкий же... Я зачерпнул из кармана орехов и позвал детей. Подбежали, какое-то время настороженно поглядывали на гостинец, потом взяли по орешку. Я снял с одного шапку и опустошил ладонь, добавил еще и птенчика, вылепленного из пчелиного воска. Белые после зимы лица засветились. Белые не от солонины.

– Кукушечка сладкая. Кусайте один с головки, другой – с хвоста. А мне расскажите, что слышали о девицах, которые исчезли.

– Нельзя про это говорить, дедушка, – скороговоркой выпалил старший.

– Почему?

– Чтобы Мару не накликают. Услышит и придет за новой. Задурманит, нитями оплетет и поведет за собой. И собака не тявкнет. А коли залает, то оцепенеет...

– А вы откуда знаете?

– Юрика Еленка пропала. Правда, Юрик?

Ребенок гордо качнул головой.

– И не обмолвилась, куда идет?

Мальчуган молча пожал плечами, рот был занят вкусняшкой.

– Бануешь<sup>36</sup> по сестре?

– Банует, – сказал за него старший. – И мамка банует. И пес их Сивко грустил – да так и сдох. И черешни две засохли из-за Еленки...

– Фигли<sup>37</sup> шутишь, – изобразил я недоверие.

– Пусть мя гром ударит! – бухнул себя в грудь кулачком мальчуган.

– Это в самом деле чудеса: мать ревет, пес молчит, деревья застыли, а куда подевалась девушка, никто не ведает...

– Знает, дедушка, знает, – подтянулся он ко мне в шепотке. – Циль-дурак знает.

– Какой Циль?

– Тот, что вернулся с войны с проломленной головой. Теперь ходит на смех людям и собирает рище<sup>38</sup>.

– И что он говорит, несчастный?

– Говорит, что Мара ему глаз вернет. Тот, что он на войне потерял.

– Добрая челядинка, – усмехнулся я.

– Это не челядинка, а ведьма, – ребенок выпучил испуганные глаза. – Пусть Бог от нее бережет. Вы чеснок при себе носите?

– Зачем?

– Бесовщину отгоняет.

– Мне, когда родился, варги<sup>39</sup> чесноком намазали. До сих пор помогает... А вы бегите к той бричке – там для вас целое сокровище навалено.

Час-другой я присматривался к нищим. Все были при делах, базарный день и их кормит. Но одноглазого калеки не встретил. И отправился на улицу Трех волхвов, к бурмистровому

---

<sup>36</sup> *Банувать* – тосковать.

<sup>37</sup> *Фигли* – шутики.

<sup>38</sup> *Рище* – хворост.

<sup>39</sup> *Варги* – губы.

посаду. Раньше меня привозили сюда тайком, госпожа не хотела, чтоб о ее хвори знал муж. Теперь немочи не скрыть. Об этом знал весь город. Мостовая под окнами была устлана соломой, чтобы больной не мешал грохот телег, а сами окна закрыли темными занавесками, чтоб не беспокоил солнечный свет. Дом стоял посредине липовой рощи, над тихим рукавом Латорицы. Река здесь перегорожена железными цепями, чтоб лодочники не мяли лилии и не пугали лебедей, которые гнездились на подбережье.

Хозяйка, бедная, и сама была похожа на лебедку – тонкошеяя, бледная, белая, лежала смертельно больная под слоями покрывал.

– Как себя чувствуешь, матушка? – спросил я.

– В сердце стрела, – еле слышно выдохнула она.

– Мы ее вытянем, – сказал я утешительно.

Болезнь одних изводит, а других калечит. Здесь было другое. Хворь не в сердце, а на сердце. Я знал сей род женщин. Любовь живет в них, как молитва в монашке. В этом их сила и в этом слабость. Ведь ежели отобрать любовь, то останется одна дуплистая пустота. А в сердце войдет всякая тоска, усиленная страхами и тревогами. Долго придется оживлять такую душу. Здоровье быстро вылетает и по-воловьему возвращается.

– На улице воздух шелковый и солнце, как золото, – откинул я плахту и открыл оконницу. – Оно и для тебя светит.

– Я мертвая, – шелестнули запекшиеся губы.

– Ты живая, как никогда. Сердце бьется как надо, кровь жиденькая – по ногтям видно, око чистое, дыхание здоровое, волосы нечесанные, а сами вьются. Твой образ прекрасный, как у водяной лилии, что цветет под берегом. Вчера я разговаривал с твоим мужем, и не встречал человека, который бы столько беспокоился о жене, так тревожился о ее самочувствии. Это он на пороге смерти от отчаянья, а ты жива-живехонька. И дочь твоя живая...

Людам надо говорить что-то такое, чтоб их расшевелить. Чтобы почувствовали себя живыми. Говорить, но только не учить.

– Живая... То знает лишь Господь, – вяло произнесла она.

– О том и речь. Когда Бог хочет сделать нам подарок, Он заворачивает его в какую-то заботу. И чем дороже ожидается дар, тем больше пучок мучений. Жди Благовеста<sup>40</sup>, матушка, жди с надеждой – и будешь награждена... А тем временем пожуй цвет со святой горы. Очень помогает эта трава. Запьешь водицею, а остаток сохрани у себя на груди. Вытянет тяжесть из сердца. Воды побольше пей. И дыши, дыши небом, вволю дыши...

– Со святой горы? – сверкнула глазами.

– С нее, сладкая.

– Как файно баишь: сладкая. Так только мамка мне цокотала.

– Отдыхай, матушка. И думай о солнце – оно согреет в хладе сердца и засветит во тьме сомнений. Думай о Господе – это развеет потемки души.

Женщина слабо улыбнулась. И это было больше, чем ничего. Святую гору я выдумал. Пижмо<sup>41</sup> собрано на Ловачке, находящейся по правую сторону пути на Ужгород. Но разве не все горы святые в высокой своей чистоте?! И травы тоже.

Со двора провожала меня горничная, расторопная молодая верховинка. Горянок я изда-лека узнаю: у них упругие икры и острый взгляд, и, выросшие возле шумных потоков, они разговаривают громче, чем жители долин. Я сказал, что пойду по берегу, чтоб еще раз полюбоваться лебедями.

– Файные у нас птицы? – отозвалась прислуга. – Тьфу, тьфу, чтоб опять не сглазить!

– А что им мешают? – удивился я.

---

<sup>40</sup> Благовест – 7 апреля (25 марта по старому стилю).

<sup>41</sup> Пижмо – дикая рябина.

– Теперь уже ничего, а раньше отлетели все куда-то. Голой была заплава. Началось с того, что в какой-то день сел на плес залетный черный лебедь. Недобрый, говорили, знак. К утру черный бродяга канул, но сдохла наша гусочка, с черным пятнышком на лбу. Опустила длинную шею в воду и замерла. Гусак, бедняга, вскрикивал, поднимал ей головку, теребил перья – все зря. Сам еду не брал. А в один вечер охранник узрел, как тот взлетел над водой и начал облетать плес, низко хлопая крыльями, и плакал, как дитя малое. А тогда метнулся в небо и на Черленой горе, рассказывали козопасы, накололся на вершину сухой ели. Матерь Божья, выходит, и птица сердце рвет по паре!.. Прошла в тревоге ночка, а к утру – новая напасть: у каждой лебедки на лбу черный знак. Хуже приметы не может и быть. Госпожа от испуга слегла. А через день после этого все гуси ночью снялись, тихо, без гогота, и невесть куда полетели...



*«Когда Бог хочет сделать нам подарок, Он заворачивает его в какую-то заботу. И чем дороже ожидается дар, тем больше пучок мучений. Жди Благовеста, матушка, жди с надеждой – и будешь награждена... А тем временем пожуй цвет со святой горы...» (стр. 35).*

*«Теперь уже ничего, а раньше отлетели все куда-то. Голой была заплава. Началось с того, что в какой-то день сел на плес залетный черный лебедь...» (стр. 36).*

Я заметил, что, говоря, молодка поворачивается левой стороной. И понял, почему: на лице от виска до губ у нее был выпуклый шрам. Застенчиво прятала себя от мужских взоров.

– Когда отлетели гуси? – спросил я.

– На вспашку вдовы, как раз на Юрьев день<sup>42</sup>. Помню потому, что через неделю пропала и наша Эмешка... Шептали, что и лебеди, и ее пропажа – это работа Алексы. Парень – рыбарь, днем тут вертелся на лодке. Для отвода глаз будто рыбу ловил для панского стола, а на самом деле увивался возле барышни... Тут его и скрутили жандармы. А гуси так же безголосо, в ночных потемках, сели на воду. Вернулись домой. А Эмешки все нету...

Женщина искривила губы и зашмыгала носом, уподобившись сама испуганной гусыне. Так как я не искушен в женских утешениях, то сухо откланялся и быстрым шагом направился к городской управе. Пошел через плотину, которая в этом году все-таки спасла центр города

<sup>42</sup> Юрьев день – 23 апреля (6 мая) и 26 ноября (9 декабря).

от весеннего потопа. Река стала кроткой, вернулась в свое корыто, но берег все еще пестрел нанесенным труском<sup>43</sup> с гор. Низовьем с охапкой хвороста под мышкой ковылял растрепанный человек в обносках. Палкой рассекал воздух и грозно выкрикивал что-то несуразное. То и дело пускался бежать, догоняя невидимого врага, и колотил его дубинкой. Увидел меня и встал как вкопанный. Разгоряченный, бешеный. Узловатый шрам наискось прорезал его лицо, нижняя губа слюняво свисала. В одной глазнице чернела дыра, а живой глаз зловеще вращался безумием и хмелем. Привыкший ко всякому, содрогнулся и я невольно. Хотя и знаю, что плохого ждать от таких людей не приходится. Зломышления – от превратного мышления. Благословил его мысленно и пошел своей дорогой – в канцелярию, где по приказу бурмистра мне должны дать спис<sup>44</sup> пропавших девиц. А затылок мне сверлил следом жгучий косяк одноглазого горемыки.

В канцелярии меня остановил шупленький писарчук и отвел в пристройку во дворе. Там в просторном зале сидели двое. Чиновничий жандарм в синем мундире и хитроглазый человек без усов и бровей, в одежде не местного покроя. Этот последний посмотрел на меня лисицей и, не выказав никакого интереса, возвратил взгляд к бумагам. Мой поводырь шепнул что-то на ухо старшине и отошел.

– Господин Холоши, – услужливо поднялся жандарм, – наш посадник приказал уделить внимание этому человеку, предоставив перепись пострадавших и другие сведения расследования.

– Что? – поморщилась лисья морда. – Этот туземец умеет читать?

Офицер вопросительно посмотрел на меня.

– *Sine nobilitate, adspicit lucem celestem*, – сказал я сам за себя.

Присутствующие посмотрели друг на друга.

– Что он сказал? – жандарм вопросительно оглянулся на Лиса.

– Сказал, что не нужны титулы, чтоб... чтоб видеть...

– ...небесный свет, – закончил я перевод с латыни на мадьярский.

Чиновник потряс плешивой головой и раздраженно сказал:

– Не хочу идти против воли градоначальника, но до сих пор еще не встречал такого, чтобы тупой деревенщине показывали добытые королевским розыском *sekretum dokumentum*.

– Не волнуйтесь, господа, – влез я. – Мне нужны только имена пропавших и все. Но ежели это запрещено, то я спрошу у первого встречного на улице.

Приезжий начальник сердито погрузился в свои бумаги и больше глаза не поднимал. А жандарм протянул мне листок с колонкой фамилий. Я пробежал его глазами, вернул и поклонился.

– Как, ты не перепишешь их для себя? – удивился служитель.

– Уже записал, – я указал пальцем на голову.

Проходя через двор, я услышал из открытого окна картавый голосочек Лиса:

– Дожили, вижу, вы здесь. Всякое дерьмо пускаете на порог. Да еще и церемонитесь с ним. Скоро, капитан, эти русинские свиньи потребуют, чтоб им руку подавали...

– А я что, господин Холоши... Бурмистр наш от горя совсем голову потерял.

Все что-то теряли в этот день. А я находил. Возвращался и дышал заходящим солнцем. День уходил, но на сите после просеивания кое-что оставлял. Время земное не такое уж скупое, если бережливо делить его на часы и минуты. Теперь я обязан делать это добросовестнее.

Дома я остановился возле родника. Надо было смыть с ног огород. А с головы – пустую пыль услышанного и увиденного. Последний сиротливый луч искал в воде золотые позументы саламандры. И не нашел. Ящерицы там не было. Она пропала. Ради чего-то лучшего сала-

<sup>43</sup> Труска – хворост, валежник.

<sup>44</sup> Спис – реестр, список.

мандры оставляют родные источники, змеи – кожу, улитки – раковины, щуки выбрасываются на сушу, а человек покидает дом вчерашнего дня. Почему, спрашивал я себя. И не было мне ответа.

На пороге я споткнулся о тушку перепела. Это оставил мне ужин Марковций, мой кормилец. Для себя он отгрыз только крыло.

## Затесь третья Рыба в дупле

*Того, кто дает мне руку, я называю братом.  
Цыган Йошко из Борока*

В тихую изменчивую полночь дрожит слюда в оконнице. Я сплю крепко, но коротко. Люди убегают в сон от одиночества. Сон – обманчивое наслаждение. Спишь – и все меняется, а проснулся – и с явью ничего не произошло. Той привычкой я похож на своего деда Гаврилу: ночь добавляю ко дню. Мало мне дня. В утренний жор надо натянуть в затоне первый волок – авось сдуру попадетсЯ какая рыбешка. Заявлю, и будет чем поживиться в походах. А на врачевание полагаться в эти сутки не стоит. Если бы благословенья и благодарности, коими обсыпан я здесь, на земле, стали перьями, то не надобно и крыльев, чтобы вознестись на небеса. А мне и тут любо, душа цепко вросла в берег. Если бы не отрывала эта хлопотная суeta...

*Было бы что клевать, а голубь найдется. Все живут тайной мечтой о крыльях.* Давая больным привороты<sup>45</sup>, я тоже иногда приговариваю: «Коль долго пить сие, вырастут крылья». Пьют – и взлетают надеждой над своими немочами.

Я зелейник. Травы Господа – мой хлебушек. Мое ремесло.

Травничество – заработок непостоянный, ибо челядь в непрестанной работе и нужде хворьями не слишком балуется. Поэтому, кроме зелья, меня подкармливает река, чаща и зверьки – хорьки. Но про это я напишу как-нибудь в другой раз.

Имя мое – Мафтей. Странное даже для нашего подкарпатского отшиба, где разноплеменная и многоязычная людность кипит, как горный поток. Но имя не от Бога – от людей. А все человеческое – несовершенно. К имени своему я до сих пор не привык, как пес не может привыкнуть к репейнику за ухом. Черноризец Аввакум нарек меня так, ибо явился я в грешную сию юдоль ночью между днями апостола Матвея и великомученика Фатая. Вероятно, чтобы не обидеть никого из святых, Божий человек объединил их одним словом – Мафтей. Как перст и ноготь. Как столб и плечо креста. Таким образом, рожденный в сумерках ночи, ношу я в себе два солнца – дня вчерашнего и дня завтрашнего. И эта двойная светлость меня не ослепляет.

Моя мать была шептухой, повивальницей и просвирницей при монастырской церковке. Это и ко мне прилипло другим прозвищем – Просвирник. Мафтей Просвирник. Считают меня провидцем, ведуном и травником. О, что-то я знаю. Знаю, почему умирают, но иногда не знаю, почему живут. И почему исчезают. Как эти несчастные девицы...

На сей раз я отправился в разведку по Русинской окраине. Тут в самом деле кончаются признаки благополучия и начинаются лишения, маловерие да бесконечное труженичество. Христос, видать, остановился на Каменном мосту. Сюда он не пошел. Хибары тут вылеплены из земли и стоят на земле, без фундамента, под грустными соломенными иль камышевыми крышами. Колодец один на улочку, выгребной ямы – ни одной. За хрупкими плотиками – деревца шелковицы, айвы, слив-кислячек, грецкого ореха и диковатых яблочек. Прилаторичная песчаная земля, если ее удобрять, хорошо родит овощи – этим и спасаются.

Я обошелся без расспросов, заметив плетеную лису<sup>46</sup>, к которой была приторочена черная бинда<sup>47</sup>. Жандармская метка двора, где случилась пропажа. Для кого метят? Только намечен тронуть воротца, как под ноги мне бухнуло ведро домашнего хлама.

---

<sup>45</sup> Привороты – лекарства, зелье.

<sup>46</sup> Лиса – калитка или ворота.

<sup>47</sup> Бинда – лента.

– Эгей, невестушка! – вскрикнул я. – Не боишься напугать домовика?  
– Какого еще домовика? – худая девчушка уставилась на меня своими недоверчивыми глазами.

– Того, кто жилью стережет. Ангел такой. Очень он не любит мусор во дворе. Да и возле двора...

– Нашу хибару не стережет, – отрезала она со старческим раздражением в голосе.

– Оно-то так: метать мусор ангелу в очи – кто ж терпеть будет.

Из черного разреза двери появился дедулька, даже прозрачный от старости. Туберкулез высушил его в щепку.

– Славайсу, уважаемый газда! – поздоровался я.

– Навеки слава, уважаемый Мафтей.

Меня и здесь знали. Кто меня не знает в этих краях? Разве залетные вороны. С ворон я и начал.

– Тепло. Сего дня в акацах<sup>48</sup> на Дорошовице вороны положили первые яйца. Через девять дней жди лето.

– Богу слава, – прошамкал старец, – у нас уж и квасная капуста<sup>49</sup> на дне.

– Потеплело, – продолжал я. – Загодя брызнул лист. Значит, кукушка-бездомница сядет не на голый лес. Будем с сытой осенью.

*Ничто так не сближает случайных людей, как разговор о погоде. А еще более – неожиданные подарки.* К людям я привык ходить с чем-то. Вытянул из-за пазухи две тугие марены<sup>50</sup> в портянке и положил на порог. Дед мелко моргал, не зная, как ему быть.

– Как живете-радеете, сват? – остановил я его замешательство.

– Да как видите. В огне и в говне.

Я и сам вырос на крепком русинском словце, но не сдержал смеха. Последнее им сказанное само перло в глаза. А вот первое... Мы обогнули халабуду, и я увидел пожарище. Не очень свежее, ибо уже кое-где его закрыли заросли лебеды, но ноздри еще дразнило горелым. Пожарища подолгу не выветриваются.

– Пошел хлевом дымом, – отстраненно изрек старец. – С сенцом, кукурузой, ларем семян, с двумя козами и поросенком. Куры с обожженными перьями выпорхнули. Инструмент выгорел, лишь черные железки остались... Скажем, забороновать землю еще есть чем, да что в нее сыпать? Пошел к жиду просить, а тот достал тетрадь: у тебя, говорит, тут и козы записаны, и возочек, и лекарства для жены. Думай, горемыка, как вернуть все это... Тут и гадать нечего. Прежде хотя бы молочком процент покрывали, яйца собирали. Да пошли козы в занозы, а куры со страху нестись перестали... Жена перья драла, набивала перины<sup>51</sup>, Марточка вышивала – не густая, но копейка... Теперь в хибаре ничто не звенит, только в ушах. Последние монеты дохтур забрал. Говорил, что зараженные.

– Монеты? – не поверил я. – Чем зараженные?

– Черной хворью. Это когда огонь из нутра сжигает и челядник чернеет. Так было с моей женой. Видите эту обугленную головешку? Такой и она стала. Только глаза и ногти белые. Дохтур макал в паленку монеты, все, что нашлись в сундуке, и клал ей на лоб, на грудь. А сам попивал, чтобы к нему хворь не прилипла. Цилиндер<sup>52</sup> сливянки ушел, и жена ушла, а дукаты дохтур сгреб себе в платинку<sup>53</sup>. Набрались, говорит, больной черноты, нельзя такое в

<sup>48</sup> Акац – сруб.

<sup>49</sup> Квасная капуста – квашеная. Вместе с картошкой и фасолью – главная еда русинов.

<sup>50</sup> Марена – речная рыба.

<sup>51</sup> Перина – пуховик.

<sup>52</sup> Цилиндер – удлиненная баклага на 2–3 литра.

<sup>53</sup> Платинка – фляга.

руки брать. Я не возражал, хотя на вид этим деньгам ничего не сделалось. Жид взял бы... А теперь что ему дам? Пепел?

– Как загорелось? – спросил я.

– А мара его знает. *Злая искра все поле спалит и сама исчезнет.*

– Опять вы, нянь<sup>54</sup>, мару накличете, – сердито отозвалась дочь. – Мало вам?

– Э-э-э, как ни прячь шило, а оно все равно вылезет. Чего уже худшего накличешь?

– Думаете, что подожгли? – выпрашивал я.

– Думаю, что там муха садится, где рану чует.



*«Меня и здесь знали. Кто меня не знает в этих краях? Разве залетные вороны. С ворон я и начал.*

*Тепло. Сего дня в акацах на Дорошовице вороны положили первые яйца. Через девять дней жди лето...»*

*«К людям я привык ходить с чем-то. Вытянул из-за пазухи две тугие марены в портянке и положил на порог. Дед мелко моргал, не зная, как ему быть...» (стр. 43).*

Ход русинской беседы особенный. За видимой простотой скрывается больше невидимого, недосказанного, тайного. Русин говорит тебе, а видит свое и рисует это скупой краскою. Ему сказанное видится ясно, а ты догадывайся, что за этим кроется. К тому же русинская беседа не скупится на поговорки, лукавинки и фигли – и в той словесной мешанине еще больше теряется содержание. Подкарпатские русины, веками живя под чужаками, стягивали что-то приметное от них и приспособливали к своему, укорененному в глубокие пласты, славянскому старовеку. Давняя истинная, мудрая, ясноокая и высокочелая Русь, как нигде, отражается в говоре наших людей, которые удержали эти затеси и сокровища в укрытии Карпатских гор. Через меня прошло огромное число людей разных племен и языков, и я должен признать, что здешний говор более других роднится с построением библейских притч. Я это понял еще в далеком детстве, приобщенный к Святому Писанию знатным книжником Аввакумом.

– Как стелется, то стелется... – тянул далее нить своей скорби дед. – Сперва я на грудь ослабел, дальше жена белый свет оставила, хлев сгорел, сразу после этого пропала Марточка...

<sup>54</sup> Нянь – отец.

Знаете, как оно ведется: с крапивой и прекрасный цветок срывается. Эх, пан-брат, погорелец я всей головой и всем сердцем. Не ребенок был, а кусок кулича. Меньшая, – старик приглушил голос, – та уже другая. Острая, кусочая, в мать удалась. А Марточку вся улица называла умницей. Первая вышивальщица в нашей сторонке. Жид Мошко с радостью покупал ее скатерти, а дороже всего оценил бездетную Матушку, что под деревом стоит...

– Под каким деревом, хозяин?

– Под сухим. С того дерева, видать, крест и был вытесан. Очень красивая икона.

– Осталось после дочки рукоделье?

– Юлине все и осталось. Моя младшая сестра, через дорогу живет. Марточка, как мать отошла, шибко к ней тянулась. Я, знамо, старая голова, о чем со мной поговоришь? *А чужая ласка – сироте Пасха.* У Юлины, вдовушки, девки и собирались на вечерницы. Чистили пасулю<sup>55</sup>, пряли, вышивали. Моя среди них на первых ролях была, за трех старалась. Такая в руках охочая на работу, за что ни схватится – все в нитку. Ох, порвалась та нитка, нечем доточить. Плачьте очи всю жизнь... Такие красивые тополиные чурбаки лежали в хлеву, – мечтал зимой вырезать из них ложки. И бервено ясеневое, как золото. На веретена. «Ваши веретена, нянь, – трещала Марточка, – вертятся, как девки в танце...» Все в сажу перешло. Черное мое время...

Утлую фигурку старика болтало на ветру. Заносило и беседу его. Для туберкулезников характерно переходить из яви в бред, из оцепенения в движение. А какую ненасытную похоть, Боже сохрани, имеют женщины-туберкулезницы! Сожгут и себя, и содруга<sup>56</sup>.

– Деревом могу помочь, – отрезвил я человека. – Буря сломала два тополька у меня на вершине горы. Можешь их забрать себе на ложки.

Дедок дернулся в поклоне, чуть не упал.

– От всего сердца благословляю тебя в твоём потомстве, – с отдышкой прохрипел он. – Да как я те деревца перевезу, не имея тягла<sup>57</sup>?

– Тогда не надрывайся. Найдется мужик, вобьет в колоду кол и на веревке тихим плавом спустит по реке.

– Пусть так, но чем я отблагодарю? *У кого-то деньги возле души, а здесь одни токмо виш...*

Я почувствовал, что сзади меня кто-то стоит, не показываясь. И тут затаенный сказал женским голосом:

– Доброе слово – задаток.

Челядинка в сером сукмане с туго завязанным платком, с круглым и плоским, как луна, лицом. На нем ни масти, ни страсти. Ни девица, ни баба. Тайный крот.

– Вот это и есть Юлина, мезинная сестрица моя, – указал старик.

Я спросил, собирает ли она еще посиделки.

– Нет, с тех пор как две девки из их сурдика<sup>58</sup> пропали, матери другим запретили. Сидела ли и она с ними на тех вечерницах? «Нет, я к молодежи ум не прикладываю». А парни приходили? Не знает, она им свечку не держала. Можно ли взглянуть на шитье Марты? Все жиду Мошку продали, чтобы было чем платить за Службы. И гадалкам на предсказания. Все до последнего отдали? Нитки, правда, Марточка забрала.

– Куда забрала? – простодушно поинтересовался я.

– Это ведаёт лишь Святая Мать, – томно закатила глаза Юлина.

– Та, которую племянница вышила на полотне?

---

<sup>55</sup> *Пасуля* – фасоль.

<sup>56</sup> *Содруг* – здесь: партнер.

<sup>57</sup> *Тягло* – гужевой транспорт.

<sup>58</sup> *Сурдик* – уголок, местность.

– Не знаю. Ничего не знаю...

В ее затуманенных глазах перебегали и путались сероватые тени. И язык спотыкался. О, женщины, женщины, все, что ревностно скрываете в сердце, отражается на вашем лице. А эта... почему-то прятала даже то, чего не знала.

Зато я знал, что вдова пришла специально, чтобы услышать наши разговоры. Что-то она хотела узнать и в то же время что-то скрывала. Собственно, это две стороны одной монеты.

Сестра позвала брата помочь ей, и я уж хотел пуститься в свой путь, когда из двора выскочила пучеглазая малышка, которая раньше обдала меня мусором. В руках – березовый веник, хотела исправить свой проступок. И на этот раз я отступил.

– Нету для тебя, невестушка, подарочка, зато дам тебе один последний совет. Файные у тебя косы, а будут еще краше – густые, блестящие и тугие, как щетки, и в глубокой старости перейдут из смолистой черноты в голубоватую седину. Мой волосы горячей водой, а споласкивай прохладной, настоящей на овсе. Затем протирай их шелковым пологом. Иногда втирай в голову болтушку из сока ягод, яйца и кислого молока, чтоб оздоровить корень. Вот и вся тайна...

Глазки ее потеплели, вспыхнули доверием. *Легко купить женищину, малую и большую. Они глазами притягивают нас, а привязывают волосами. Не один запутался в них, как муха в паутине. Ох, не один.* Поэтому своей косе женщины угождают больше, чем лицу.

– Любишь вышивать, красавица?

– Может, и так, но не хочу, – скороговоркой ответила она.

– Вот тебе на!

– Коли б и вышивала, то только цветы.

– Почему?

– Ибо если изобразишь что-то живое, то оно завладеет тобой...

Вот это да. До сих пор я знал, что владеют нами те, кто пустил нас в свое сердце, и те, чью тайну мы постигли. А эта темная девчушка открыла мне еще одну сторону обладания сердцем.

– Сестра такое вышивала?

– Марта всякое вышивала. И деревья, и птиц, и зверят. И храмину нашу перевела на полотно. Все, что на виду, то и вышивала. Вы не слышали, как ее парни задирали: «Марта, вышей мне карту»?

– Такого не слышал. Но слышал от твоей тетки, что она забрала с собой нитки, а полотно оставила. Почему?

– Такое спрашиваете. Иголка голая ходит, да с ниткою.

– Хочешь сказать: куда нитка, туда и иголка?

– Это вы сказали.

– Бануешь за Мартой?

– Мне бановать некогда. Братья в наймах чужой скот пасут, вечером возвращаются. Должна их накормить, обстирать. С няня толку мало – сами видите.

– Думаешь, что сестрица вернется? – ласково и неотрывно я заглянул ей в глаза. Так поступаю обычно с теми, кто сам себя хворью дурит.

– Не знаю... Ни разу мне не снилась. Покойники приходят во сны до рассвета... Мамка снится, а Марта нет...

*Сестры, родные души, тайно завидуют одна другой, и это их еще больше роднит. А мирит лишь смерть. Мир без тайн погиб бы.*

То, что хотел услышать, я услышал. *Невидимое глазу видит женское сердце. Неслышимое взрослому слышит чуткое детское ухо. То, что не видят женищины и не слышат дети, знает юродивый, наделенный памятью крови. Ибо вся суматоха мира, все его злорадство падет в смятенную душу изгоев мира сего.*

Премудрый Аввакум открыл мне чудесный мир чтения. *Книги, – говорил он, – это оживление голосов, это возможность общаться с мертвыми. А большинство людей – покойники, и они что-то знали, что-то оставили нам. Их достижения закреплены буквой. Просеяв со мной книги письменные, учитель мой терпеливо подталкивал меня к чтению человеческих душ. «Ибо истории человеческой души полнее и поучительней, чем история целого народа». Этому я научен и этого держусь. Знаю, что в сложных, запутанных случаях самый мелкий светлячок дает проблеск направления. Истину можно выдернуть из тьмы мгновенным взглядом стороннего наблюдателя. Вода находит дыру. Вода течет и сквозь камень.*

Я шагал по огородам Замлина. Рядом упруго играла река, теряя силу каждый день. Наводнения приходят в наш край каждые шесть-семь лет. Их ждут с опаской. Знают, что придет неожиданная вода, боятся ее, как судного дня.

Припоминаю, как однажды осенью стояли мы с Божьим челядином на Гнилом мосту и он проводил свою «лектуру». Мутный поток напирал на мостки, тряслись доски под ногами. Прибежал мельник, запорошенный, жирный, сам с кислым лицом: «Отче любезный, когда ждать наводнения?» – «Ты когда в последнее время мылся?» – «Недели две назад, может, три...» – «Вот тебе и не помешает искупаться». – «Зачем так шутите, уважаемый?» – *«Ибо Бог погружает нас в глубокие воды не для того, чтоб утопить, а чтоб омыть».*

Все без конца чего-то ждут, на что-то надеются, а когда это приходит, то застают их иль неготовыми, иль напуганными. Все непрестанно зовут Бога, а когда Бог зовет их, они прибегают ко мне. Станный мир, чудные люди...

Дорожка обрывалась глинистой кручей. Вдали, в пойме, косил цыган. Ветерок габами<sup>59</sup> заворачивал траву под острие косы. Я спросил его, где живут Обручари.

– Вон этой кручей обрывается их нивка, – сверкнул тот зубами и снял шляпу, украшенную цветами болотной герани. Наверное, оказывал уважение моим яловым сапогам. Но нет.

– Я вас знаю, газда, – оскалился он широким заросшим ртом. – Возил к вам нашего бирова<sup>60</sup> с распухшей ногой. Вы ее пробили, как рыбий пузырь, и спустили бледную кровь. Хорошо сделали, у цыгана должна быть черная кровь...

– Коли здоровая, – согласился я. – А скажи-ка мне, цимбор<sup>61</sup>, что с этой поймой случилось? – показал я на огромный кусок берега, будто отрезанный ножом. А дальше в глубину тянулся глубокий пролом.

– Была плотина, а теперь – ложбина, – объяснял цыган. – Пророчили же западание земли. Вот его и имеешь! Земля просела. Теперь русло ни орать, ни сеять. Мало того, еще половину нивы вода унесла. Напасть на человека... Одна за другою.

Я и сам понимал: отрезать у мужика землю – все равно что руки отрубить.

– А другая какая нужда? – спросил я цыгана.

– Литусь<sup>62</sup> их ребенок утонул в источнике. Сруб гнилой... А родник знаменитый, кто только сюда за водой не ходил. Славная вода, напьемся и сыт. Я кадуб вычерпал, почистил, серой соли дал, но челядь открестилась от той воды. Не идет в душу, говорят. Оно, может, и так, некрещеный был малый утопленник. Так ситочник и заглох, заkis...

– Заглох, говоришь? А это что? – показал я на кремнистую стену крутояра, где слезились желтоватые потеки и стекали в густую осоку.

– Вода дырку найдет.

---

<sup>59</sup> *Габы* – волны.

<sup>60</sup> *Биров* – здесь: цыганский барон.

<sup>61</sup> *Цимбор* – друг.

<sup>62</sup> *Литусь* – в прошлом году.

Из-за порчи заброшенный людьми родник, имея сильное течение, пробил себе ход пониже, благо, что река недалеко. Вода к воде тянется, как живое к живому. Подземное русло и дальше будет углублять яругу. Нет больше у Обручаров сада и огорода. Сгнуло людское имущество.

– Как же они теперь хозяйствуют – без воды и земли?

– А никак, – махнул рукой цыган. – Снялись из отчины и перебрались к родственникам в Сольву. Говорят, место здесь проклятое. Земля провалилась, дети пропали. Их у них двое и было – Мокрина и Лодька. Не то что у меня – двенадцать, как у Христа, и гляди, и черт их не возьмет... А усадьба Обручарова на самом деле мрачная. Я здесь кошу. Деревья сухие, черные, без листика, только ниточки развеваются на ветру...

– Какие ниточки?

– Нитки, как нитки. Может, заколдованные, а мне что – детей обшивать надо. Я нитки собрал. Бог не осудит, а черт и так с плеч не слезает.

Покалеченная земля, выветренный дух опустевшего жилья, воронье над скелетами деревьев, да еще и безрадостные цыганские пересуды на секунду затуманили ясный свет мая. Я невольно оглянулся на Латорицу, которая проворно несла вдаль свою бегущую радость.

– Говорят, что Обручарова Мокрина пропала в один день с Мартой-вышивальницей.

– Вместе и погибать легче, – рассудил цыган. – Вместе в девицах ходили. Все в паре, как игла с ниткой...

Снова нитки. И снова оборванные. Нитки, которые никуда не тянутся.

Цыганишка беззаботно поправлял на шапчонке цветы. Черный человек с незатемненным сердцем. Чего ему печалиться. Беда согнала семейство из родового гнезда, а ему даром достался кусок сенокоса, да еще какая-то мелочь возле него. Не зря говорят: *на навознице цветы растут, а на чужой беде – чья-то прибыль*.

Мне захотелось оставить услужливому человеку хотя бы утешительное слово.

– Файный цветок ты выбрал для украшения. Да еще и лечебный: от герани голова ясная, хорошее настроение и крепкий сон.

– Это хорошо, хе-хе-хе, ибо цыган спит, как заяц.

– А как завянет, пожуй и прикладывай к ранам.

В конце я еще выведал, где живут Пиняшки. Косарь объяснил, но не советовал туда идти. Все поголовно, и стар и млад, вповалку лежат в сypняке. Сосед им воду ставит под порог, а из монастыря приносят ведро похлебки.

Я миновал ту мазанку без ворот, где на столбе сиротливо свернулась черная бинда. Интересно, подумал я, что появилось раньше: черный знак, которым отмечены эти печальные жилища, или черная беда, что в них поселилась?

Я не вошел туда. Не потому, что испугался хвори, а потому, что не взял с собой лекарства от нее. Сапоги сами понесли меня к корчме Мошка. Эта обувка была подарком корчмаря за лечение его жены, у которой была грудная жаба. За мостом я встретил прислужницу бурмистра. Она шла от проволочной корзины, погруженной в реку, куда рыбаки свозят улов. Женщина несла корзинку, а в ней на лопухах трепыхались три длинномордые щуки. Такие гнездятся в Давидковом затоне – есть куда на лодии грести. «Щука рыба ука, – любил приговаривать мой родной отец, – не всякому ловцу дается».

– Свежий товар? – обратился я к молодой верховинке.

– Нет, через день забираем здесь свою порцию. С тех пор как Алексу, нашего рыбака, посадили в темницу, рыбу привозит нам Тончи. Давно щук не возил.

– Красивые. Как почистишь, вдоволь высеки их крапивой – выпустят горечь...

Самого Мошка я не застал, за стойкой стоял его прыщавый племяш. Налил мне посудину керосина. Мои гляцевые халявы отражали мусор на неметеном полу. В корчме стоял шум

пьяного говора и кислый дух вина, капусты и немых тел. Двое бедолаг под закопченным оконцем вяло тянули:

Вода идет, вода идет. Вода в яму пойдет.  
Да не знаешь, молодец, где 'тя беда найдет...

Оборвали песню, уставились на забрызганное стекло.

– Я тебе говорю: голову ему палашом раскроил австрияк, вот ум и вытек. Я это видел собственными глазами, мы тогда защищали Подгорянский мост.

– Не может ум вытечь...

– Зато мозги могут. А мозги и есть ум. Как масло в лампе. Выльешь – и светить нечем. Тьма. Так и в голове.

– Пожди, но он же говорит, как и те, кто при уме.

– Говорит, да токмо слова у него текут задом наперед. И сердак носит рубцами вверх. И паленку не пьет, и женщин избегает... Может, когда ему по темечку врубили, то мозги перевернулись в довбне<sup>63</sup>? И пошло у калеки все шиворот-навыворот. Несчастный Циль...

– Да уж, не знаешь, парниша, где 'тя беда найдет...

Корчма стоит над водой и сама называется «Венезия». На стенах развешаны картинки на клеенке – корабли в море, дворцы южных стран, горы, что кипят в глубине и клубятся дымом. С тем дымом смешиваются и серые клубни от фаек<sup>64</sup>, которые сосет подвыпившая орава. Сквозь эту серую завесу я увидел на выступе дверного косяка шитье, обрамленное круглыми пальцами. Над могильным камнем сидит ангел со свернутыми крыльями, печальную голову подпер руками. У него румяное детское личико, да глаза недетские. Всепонимающие очи, которые вопросительно заглядывают тебе в самое нутро. Молчат и разговаривают одновременно. И это вышито нитками! Тонко, живо, со зримой ясностью.

– Мартына работа? – спросил я жидюка.

Тот утвердительно кивнул головой.

– А где иное ее шитье?

– В комнатах дочери корчмаря. Пани велела оправить их в стекло, чтобы пылью не покрылись.

А ангела, подумал я, оставили на милость пьянчуг. Им, видать, он больше нужен. Один из них, заметил я, тоже уперся в столешницу, сжав в ладонях пудовую голову тяжелых раздумий. Падший ангел без крыльев. Возле него растрепанная паплюга<sup>65</sup> цедила из погара<sup>66</sup> сивуху.

Чтобы дальше не портить себе кровь, я поспешно оставил вертеп. День еще дневал, а я уже отключился от хлопот, мог позволить себе послабление. А главное – сбросить тесные сапоги. Поэтому назад пустился по прибрежному лозняку. Идти против реки легче. Вода, столкнувшись с водою, набирает силу. Идя против реки, я иду с водой. И сам несу воду в себе.

*«Вода – самое лучшее лекарство», – говорю я всем и каждому. «Как это?» – удивляются. «Так: воду в себя, воду на себя и сам возле воды. Она узнает хворь и заберет». – «Такое дешевое лекарство?» – сомневаются. «Дешевое дорого стоит». – «Что в той воде такого?» – размышляют. «Все “такое”. Вода нас давнее, и мы ею полны. Кровь наша – вода, соки наши – вода, семя наше – вода, глаза наши – вода. Соленая. Вода с неба и соль из земли. Мы из того слеплены Божьей слюной...»* Слушают и молчат. Как вода.

---

<sup>63</sup> Довбня – здесь: голова.

<sup>64</sup> Файка – курительная трубка.

<sup>65</sup> Паплюга – проститутка.

<sup>66</sup> Погар – рюмка.

Я шел, перетирая в мыслях услышанное, и смотрел под ноги. Старики чаще смотрят в землю. По дороге я отгребал перепревшие кизяки (в них мухи зимуют) и собирал бледные всходы стародуба, который пахнет церковью. Вдруг предо мною качнулась тень. По тени человека можно узнать его характер. Эта была какая-то коряжистая, перекошенная. Я узрел его раньше, чем он меня. Калека с лохматой гривой сидел на горбатой дуплистой вербе и внимательно рассматривал рыбину. Держал ее, как младенца, на широких грязных ладонях. Единственный глаз бессмысленно бегал, а слюнявые губы в косматой поросли шевелились. Боясь его спугнуть, я отошел в сторону. Но несчастный услышал, прижал рыбину к груди и гнусаво залопотал: «Рыба... моя... умирает для меня... в дупле...» Схватил палку и угрожающе выставил вперед. Это был воин, движениями и осанкой. Если бы не изуродованное лицо, не безумный испуг во взгляде и не прижатая к сердцу рыбина. То была щука с длинной мордой. Только что я видел такую у служанки бурмистра, из одного омота – Давидкова. Узнал я и дерево – иерусалимскую вербу. По рассказам Аввакума, монахи, которые в скалах под Средним вырубали погреба, привезли из Святой земли прутья вербы. И посадили на месте, где Кирилл и Мефодий омывали ноги в Латорице. Три вербы принялись, одна из них доживала свой век при нас. Такая же горемыка, как и этот несчастный Циль, что сидел на ней, потрясал в шуйце рыбиной и вопил в небеса:

– Моя... Дупло рыбу родит... Мне...

Я согласно кивнул. Человек что-то выкрикивал, но я уже не слушал. Слова, если их выкрикивать, теряют смысл. Даже если они что-то и значат. Эх, бедняга, найдутся у Бога и для тебя нарядные ноговицы<sup>67</sup>. И порция рыбы для тебя найдется. Но почему-то в дупле...

То дупло застряло в моей голове, как колючка. Или, может, отозвалось давно забытым эхом из далекой юности. В дуплах живет пустота, но и она имеет свой голос, свою очень темную душу.

Зайдя в свое подворье, я оглянулся: что случилось за день? Перо на травке, оброненное сойкой... Знак, который предвещает дорогу. Следы водяной крысы на отмели. Эй, неосторожный ты, братец! Так и есть, за шопой<sup>68</sup> – распотрошенная тушка. Марковций ужинал. И мне сгодилась наживка для раков. Завтра весь день корпеть над лекарствами. Керосин есть, вершу на раков положу вечером, остальное добуду в лесу... Возишься дома, хозяйничаешь, колдуешь, а мыслями где-то в другом месте. Как ловец теней. Знает ли это крошечная сойка, красивый ангелочек, что объединяет небо и землю и ныне толкает меня в неведомый путь?

Стемнело. На папоротники горного склона легло серебристое мерцание звезд – и душа моя вернулась на место. Почему-то мне верится, что и дед мой чувствовал расслабление сердца, когда завершал дневные труды на Белебне.

---

<sup>67</sup> *Ноговица* – штанина.

<sup>68</sup> *Шопа* – сарай.

## Затесь четвертая Филозоп из конюшни

*Успокой скитальца, Боже,  
Дальше он блуждать не может.*

### *Венгерская песенка*

Я человек старого времени, но во мне все еще живет дитя. И чем больше мне прибавляется лет, тем с большей силою стучит детство в мое очерстневшее сердце. *Мы надолго, на всю жизнь спасаемся светлыми воспоминаниями из малолетства, скрепленные добром нашего родительского дома.*

Я часто вспоминаю своего деда, который говорил: «Солнце всходит для тебя». В самом начале я не мог оценить эти слова. Понимание росло вместе со мной. Солнце всходит для тебя, и ты должен быть готов принять сей дар. Ежедневное действие озарения. То, что предшествует омыванию плоти и облачению души в молитву. Свет – первая ценность, которую открыл мне дедушка. И притягивал ее к нам.

Тот, кто съел гору. Так его называли в Мукачевском доминионе.

История моего деда – это история большой любви. Такой, которая следует за человеком всю жизнь, и даже далее – в следующих веках, благодаря связи между поколениями. Она гудит и в наших жилах. Вспомнил я про это и на минутку задумался: любовь к чему – к лошадям, к горе, к жене? И не дам однозначного ответа, потому, что, видать, *любовь – одна неделимая целостность этого мира.*

Мой дед, тогда он дедом еще не был, пас лошадей у богатого скорняка Кадара. Лошади были старомадьярской породы – невысокие, твердо сбитые, косматые. На таких еще угры примчались сюда из Дикой степи. Скуластые крикливые кочевники, которые кололи острыми усами короткие конские уши. Чтобы не сбивать ноги о копыта, они их закладывали под подпруги и потому были кривоногими. В седлах они ели, справляли нужду и, подхватив на скаку невольницу, утешались ее телом. А лошади под ними бежали трусцой.

Теперь их обновленное гривастое племя выпасал мой дед. Когда лошади шерили свои большие зубы, казалось, что они гогочут. А может, и в самом деле смеялись над мальчишкой. Они ходили за ним, как гуси. Дедушка водил табун от Подгородских пойм до болот Нярошки, и даже по берегам Залужья, поросшим коряжистыми сливняками. На выпасах он сходиллся с такими же потомственными чабанами, с цыганами-конокрадами, с людьми луговых и лесных промыслов и людьми вольного ветра. Выведывал у бывалых, как лечить и заговаривать скот, как спасать от гнуса и мошкар, как замешивать целебные мази, как пускать кровушку и чем залепливать треснутые копыта, как усмирять норы и приучать к седлу...

В студеные ночи он ложился между двух лошадей, чтобы согреться, а в дождь прятался под их косматыми брюхами. Отрезал кудели грив и плел себе портянки и покрывала. Вставал на конский круп и рвал дички и орехи, а животины спокойно ждала, пока тот не наестся. Батога-пуги у него не было, обходился свистом. Лошади понимали тот свист, а птицы вокруг озадаченно умолкали. Скорняки Кадары тоже слышали сначала свист, а уж потом нарастающие звуки тяжелого топота копыт. Перед табуном скакали два жеребца, а на их спинах стоял мой дед, как Илия на колеснице. Ни седла, ни узды, ни пут не нужно было ему. Паренек был будто частью табуна.

Хозяин отбирал меринов на шкуры и не мог нарадоваться, какая выходит из них крепкая выделка. Из кусков шились пояса, сумки, ногавицы для солекопов, чекмени<sup>69</sup> для возничих. А из широких крупов выходила самая дорогая шкура «кордован», которую можно легко продать даже в Пеште. А все потому, что товар выгуливали в густых донниках и овсянице, вымачивали в закваске Чорной Млаки. Дедушка убежал в чашу, чтоб не слышать, как молотом валят коня, чтоб не видеть, как нарезают из сырца пояса. Пока и самого не запеленали ремнями...

Молодая императрица Мария-Терезия твердой рукою укрепляла государство, собирала земли. Большая империя требовала большой обороны. В армию набирали рекрутов почти от каждого третьего двора. У моего прадеда был единственный сын, и он не беспокоился. Зато Кадарам пришла карта роковать<sup>70</sup>. Одному из трех сыновей улыбалась служба в пехоте. Говорун-скорняк со всех сторон подступал к прадеду. И водку носил, и мощной тряс, и скотиною искушал. Бедняк уперся и никак не соглашался. А перед землей не устоял. Покусился на землю. Сошлись на том, что Кадар купит ему бережок под Белебнем, под самым леском. И записали в рекрутскую карту моего деда. Желает ли служить, его никто и не спрашивал. Когда встал в шеренгу побритых наголо новобранцев, отец благословил его только одной приказкой: «Там, на войнах, ты это... лошадей держись. На коне легче убежать».

Куда, извольте спросить? Куда и на какой лошади убежишь от судьбины?

Кто и по какой милости должен приставить к боевым лошадям безродного русина из подкарпатского закрайка?

Судилось бы ему глотать пыль маршей и маяться во влажных дикунках<sup>71</sup> на полях сражений, если бы не лошади. Они узнали его сами. Случилось это под Грацем. Дедов взвод выкладывал мостовую, он возил на биндюгах<sup>72</sup> щебенку и булыжник. По дороге текла конница. Пережидавая заторы, лошадей поили и обтирали. Дед заметил, как молодой драгун-капрал, дергая, тянул к водопою родовитого гнедого рысака. Конь скалил зубы, мотал головой, ронял розовую слюну. Дед не стерпел и вырвал повод из рук мучителя. Вынул удила и оттянул лошадиную губу, приложил ухо к груди. Рысак сразу присмирел, дружелюбно скосил воспаленный глаз. А дед – с кулаками на капрала, чуть не сбил того с ног. Остановила его плетка майора, налетевшего со стороны. Офицер потребовал объяснений и выслушал приговор возмущенного русина: «С таким обхождением угрожите золотого коня. Рот замозоленный, а губы и зубы для скакуна важнее ног... Сердце стучит неровно, то есть у коня – страх...» Майор опустил нагайку и еще о чем-то повыспрашивал. Во время беседы они хорошо поняли друг друга, ибо это был славонский гусарский полк. Славонцы – самые лучшие конюхи в австрийской армии. Но дед мой был еще лучше, потому что скотину любил больше, чем самого себя.

Драгуны стали над рекой лагерем, а вечером фенрих<sup>73</sup> привел деда в капитанский шатер и сказал: «Приведи себя в порядок, с тобой желает говорить князь славонский, под чьей рукою кавалерия императрицы. Соображай, не урони нашу честь».

Князь был молодой, широкой кости и при этом легконогий, как иноходец, который развился за оградой орешника возле гнедого жеребца и гривастого вороного моцара<sup>74</sup>. Хозяин их прогуливался по лужку в высоких сапогах, отдавая приказы, но глаза, глаза его были с лошадьми. Тот теплый взгляд открыл дедушке в сем высоком командире единоверца. Он и сам больше тянулся к лошадям, чем к людям. И страх оставил его.

«Знаешь, как помочь жеребчику?» – требовательно спросил оберст<sup>75</sup>.

<sup>69</sup> Чекмень – верхняя мужская одежда: нечто среднее между халатом и кафтаном.

<sup>70</sup> Роковать – призываться в армию.

<sup>71</sup> Дикунки – окоп.

<sup>72</sup> Биндюг – конь-тяжеловес.

<sup>73</sup> Фенрих – военное звание, младший офицер.

<sup>74</sup> Моцар – силач.

<sup>75</sup> Оберст – полковник.

«Знаю, ваша светлость».

«Говори».

«Пока пустить пастись без пастуха, в росы. Без сбруи и подков. Лечебные травы я покажу. Затем зашорить ему глаза и водить мелкой стремниной по воде. Пока не вымоются отзвуки стрельбы и канонады, которые испугали его. Дальше надо укрепить сердце...»

«И как же?» – оберст аж грудью подался к русину.

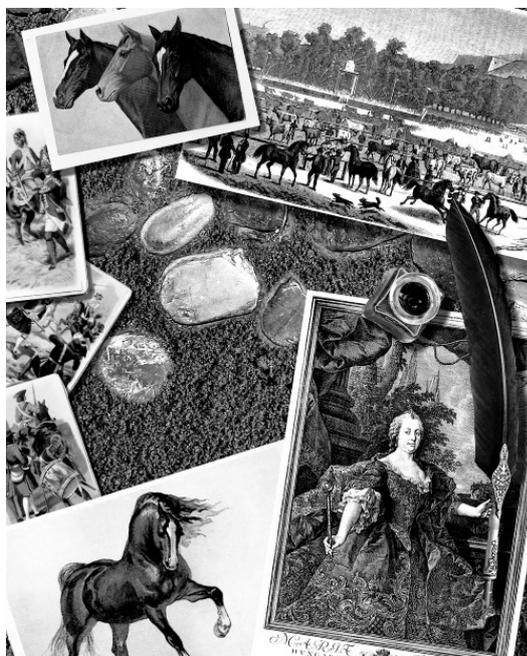
«Надо расслабить жилы и мускулатуру. От этого и сердце станет мягче, тело – гладким и упругим. А сам конь – уступчивым и податливым... Сего можно добиться упражнениями на песке. Чтоб жеребец ходил не только прямо, но и вольтом и змейкой, с ровного шага переходил на рысь, а дальше в галоп. Делать это надо равномерно и долго, пока не нальются мускулы. И осторожно, чтобы ноги не покалечить, ибо они у него словно точеные. И губа уязвима, не всякое примет...»

«Правду говоришь, катуна<sup>76</sup>, – сверкнул жемчужными зубами полковник. – Это я могу и черта съесть и выпить. А он у меня привереда. Патриций. Так и зовут его... Ты дал мне настоящий урок, но скажи, конский философ: стоит ли сказанное такой мороки и траг? Не проще ли пустить лошадку на бограч-гуляш?»

Мой дед глянул на князя, как на кровавую рубаху, так, будто зарубить хотели его. Тогда молча пошел к изгороди. Ударил себя ладонью по бедру и мелко зацокал языком. Рысак, который уныло дремал под вязом, встрепенулся, сверкнул ореховым глазом. А затем неожиданным прыжком бросился вперед и одним махом перелетел через изгородь. Как вкопанный стал пред парнем и осторожно положил ему голову на плечо. Офицеры вокруг замерли. А князь даже ойкнул от удивления:

«Эй! Такое впечатление, будто ты с лошадьми разговариваешь».

«Нет, господин оберст, лошадям слова не нужны. А вам я скажу: теперь это заморыш, а при хорошем уходе станет летающим змеем, а коли изволите – то и хищником на боевом поле».



*«Мой дед, тогда он дедом еще не был, нас лошадей у богатого скорняка Кадара. Лошади были старомадьярской породы – невысокие, твердо сбитые, косматые...» (стр. 58).*

<sup>76</sup> Катуна (венг.) – солдат.

*«Молодая императрица Мария-Терезия твердой рукою укрепляла государство, собирала земли. Большая империя требовала большой обороны. В армию набирали рекрутов почти от каждого третьего двора...» (стр. 60).*

Князь резко к кому-то повернулся на своих высоких ботфортах и огласил приказ:  
«Русина накормить, переодеть, назначить довольство второй степени. Отныне зачислить в службу моей походной конюшни. Подыщите для него место в каком-нибудь курене».

«Если позволите, я бы хотел ночевать с лошадьми», – вмешался дед.

«Изволь, филозоф из конюшни», – отмерил ему продолжительный дружелюбный взгляд главный конник империи.

Так его потом все и называли – Филозопом из конюшни. Задолго до того, как он стал Тем, кто съел гору.

В то время Мария-Терезия основала военную академию, и славонский князь Богорич должен был обучать в ней старшин-кавалергардов. Людей учил, а лошадей любил без памяти, причем отдавал предпочтение тяжелым боевым моцарам. Эскадроны на них должны были пробивать ряды неприятеля, освобождая ход легкой кавалерии, которая крошила уцелевших, как капусту. Гонцы-скупщики свозили под Вену отборных лошадей со всех окрестностей. Живое гривастое золото стекалось в белостенные конюшни ее величества.

Пригоняли теплокровных тракенов<sup>77</sup> из долины Инна, добрых, как кусок хлеба; и серых ольденбургских, которые могли жить под дождями и в снегу; и высоких пятнистых дунайских полукровок со смирным сердцем и склонных к прыжкам; и сухоногих кобылиц из Липиццы, находчивых и неутомимых в движении; и мелкоголовых крепышей из Порыни, которые брали поклажу вдвое тяжелее себя; и костистых коротконогих чалых из-за Рейна, таких же светлых и холодных, как тамошнее вино; и ласковых шлезвигов<sup>78</sup> с льяными гривами и перьями на ногах – самых тяжелых среди конского племени; и бурых южных норикенов, вялых по своей природе и готовых грудью валить стену; и доброжелательных шленских лесовиков, что, как дети, ходят за человеком и тянут по земле хвосты...

Эти названия и по сей день звучат в моей памяти, звучат, как музыка, переданная дедом. Потому что кони были очарованием его жизни. И в том влечении славонский вельможа узнал в нем достойного ценителя и советчика. Так его и зачислили в службу, которая готовила отборных животных для региментов<sup>79</sup> кавалерии. Это лишь на первый взгляд кажется, что лошадь – умная и услужливая животица. Если и умна, то в первую очередь для себя. И очень мирная, рожденная не для войны. Конь боится криков, грохота и лязга. И уклоняется от того, что на него надвигается, что мигает перед глазами, что нависает выше головы. Лошадь раздражает пыл боя, и, потеряв всадника, она убегает и невдалеке начинает мирно пастись. Потому надлежало миролюбивое животное превратить в дикого хищника, который пробивал бы себе дорогу в человеческих рядах грудью, ногами и зубами и от ран еще больше распался. Запал злости переходил в безумную атаку и спасал его от ударов. Конь и всадник должны быть спянной целостью, одним разящим клинком.

Привезенных лошадей еще и еще раз пересматривали, отбирая преимущественно тяжелых, но быстрых жеребцов, спокойных в стойле, но агрессивных в бою, безотказных и покорных. Муштра была строгой и долгой. Славонцы по-настоящему славные конюхи, разбирались в обхождении хорошо. Но и они знали не все. То, чего не дает опыт, но рождается от внутреннего слияния со сродным делом. Только это открывает новое познание.

---

<sup>77</sup> Тракен – верхово-упряжная спортивная порода лошадей, выведенная в Германии.

<sup>78</sup> Шлезвиги – порода лошадей.

<sup>79</sup> Регимент – полк.

Заприметил конюх Данила, что отсутствие страха можно прочитать в глубине глаз и что тугой рот у лошади – признак послушания и ровного характера. Чтоб это выведать, достаточно перед глазами махнуть палкой иль подвести вплотную к чужому человеку. Конь по первому велению легко пускается в галоп и при этом не несется как сумасшедший. Мудрый жеребец чувствует вес на себе, рассчитывает свои силы и не растрясает седока. А главное – придерживается начального шага и не ждет понукания. Такая лошадка годится для всякой «реконструкции» – словцо их оберста.

«Мало того, с таким конем разговаривать можно», – закончил свои изыскания дед.

«Ты не просто конский философ, – протяжно произнес командир. – Ты – заклинатель лошадей. С твоим подходом мы сэкономим на закупках и времени». – И одарил его серебряными шпорами и удилами.

«С такими дорогими дарами, – поклонился дед, – должен высказать еще одно замечание. – Хорошо, кабы удила были толще и пустые – из гнутой проволоки. Тогда не будут ранить уголки губ. И лошади будут поспокойней, податливей в управлении...»

«Хорошо, встретитесь с кузнецом. Увидим, что из этого выйдет. Ты все сказал?»

«Шибко извиняюсь, герр оберст, но вы когда-нибудь... пробовали удила на вкус?»

«Что городишь, поганец?!»

«Я к тому веду, что если бы их ковали из той стали, что и офицерские клинки, то они не ржавели бы. Для лошадей здоровее...»

«Ой, да ты, я вижу, и удила попробовал! Не зря я подарил тебе серебряные... Знаешь, за что сей дар?»

«Смею думать, за верную службу».

«Нет, коновод. За верную любовь. Я люблю лошадей, потому что они дорогие и мои. А ты любишь их потому, что они кони. Любят не за что-то, а вопреки. Просто любят – и этим богаты... Я начал это понимать с тех пор, как ты оказался при моих лошадях. *Владеет не тот, кто имеет, а тот, кто любит.* Мои кони, русин, больше твои, нежели мои...»

Дед тогда подумал в одиночестве: а что на самом деле в этом мире есть лично его? Разве что бесплодный кусок крутогора под Белебнем, за который его спровадили на всю жизнь в чужую армию. И то он где-то так далеко...

С лошадьми он ложился и вставал. Кормил и поил их, а потом выводил на утреннюю прогулку, на разогрев. Становился на колени в траву и слушал их. А они слушали его молчание. Со стороны это казалось странностью: на коленях на лугу стоял с непокрытой головой катуна, а крутобокие лошадки метались рядом, касаясь гривами его волос. Штаб-вахмистр докладывал ритмештеру, а тот шептал оберсту: «Руснак разбалует лошадей. С таким воспитанием на них лишь барышень возить...»

«Не понимаю, – обрывал их начальник, – кому вы больше завидуете: русину иль коням?»

Иногда в теплый вечер звал он в свой шатер конюха и приказывал:

«Рассказывай».

«О чем?» – вопрошал, будто не понимая, дед.

«Знамо о чем – о лошадях».

И дед рассказывал. О том, что конь глубоко в сердце боится нас. Тот страх тянется в лошадином племени испокон веку, с тех пор, как человек увидел в диких лошадях одно мясо. И безжалостно их губил, а пес, прирученный слуга, помогал ему на них охотиться, зарабатывая кость. Мой дед выведал это у старого мадьяра Дюли, потомственного, с деда-прадеда, конского пастуха из Пусты... Долгий был путь их примирения. Потому конь служит человеку не добровольно, как пес, а по принуждению. Судьба его такая. При этом наши тайные желания очень похожи. Лошадь, как и человек, может грустить, радоваться, обманывать, лениться, а может и преданно служить. На ней можно носиться, но не чваниться перед ней. Если с добрым сердцем подойдешь, тогда и конь приклонится к тебе с пониманием и верностью. Лошадь узнает нас

по запаху, в котором угадывает намерения, уровень дружбы и доброй воли. Тогда она идет за нами, несет на себе и прислушивается к нашим желаниям...

Князь задумчиво молчал, дед говорил за двоих. Кружка пива подзадоривала его.

«С конем, ваша светлость, надлежит обращаться строго, но честно. Так, чтоб заслужить его доверие. Мягкой рукой и твердым сердцем... Лошадь все понимает, но не хочет с нами говорить».

Князь тоже не хотел говорить, прощался взмахом руки, закрывая чарой мальвазии слезящееся око.

Учеба предусматривала подавление червя страха. Если сначала конь вздрагивает от птицы, которая выпорхнула из куста, то после обучения боятся те, что оказываются у него на пути. Обычная скотина никогда не попрет на людей, зато боевой конь не повернет в стремительной атаке. Крушит всеми сорока пудами разогнавшейся массы. Это огромное беспощадное живое ядро, пущенное искусной рукой всадника. Без его управления даже самый умный и самый сильный конь – куча мяса. А в единении с кавалеристом это мощная сила. Боги войны.

С лошадьми ходили вброд, по вязким отмелям, по болотам, водили их под низкими ветвями, заставляли перепрыгивать ручьи, колоды, костры. Выставляли перед ними шаткие чучела с остриями. Приучали к улюлюканью и грохоту, к запахам дыма и крови. Осаждали на скаку, учили уходить в сторону, скакать на задних, чтобы всадник мог с размаху рубить налево и направо. Все это делалось в тесной близости, нога в ногу, голова к голове. Лишь так прививают животному доверие и полное послушание.

«Ты, русин, не даешь коням стареть», – оценил те упражнения оберст.

Муштра укрепляла, муштра и ослабляла. И лошадей, и людей. Ибо как говорят: *куда конь с копытом, туда и жаба с хвостом*. Завистники и криводушники за глаза жульничали. Бракованные лошади продавались, а вместе с ними и хорошие. На этом тайно наживались. Дед им всячески мешал. Когда князь отбыл по делам в Славонию, русина повысили до капрала и послали наставлять тирольских и далматинских конных стрелков. С полком ландвера<sup>80</sup> его занесло и в Галицию, под самые Карпаты. Люди тут общались на почти похожем говоре, и ели то же, что и мы. Только и разницы, что угнетала их Польша, а нас – мадьяры. Эх, сесть бы на дунайского жеребца – и за ночь уже дома! Не пустили, какие гульки в кайзеровском регименте!

Через некоторое время бросили их тайно на турка. Русаки били из орудий, бежали пехотой в штыковые атаки, а они на легких далматинцах завершали сечу. Османы – хорошие кавалеристы, кое-чему и у них научились, но еще больше показали им. Там, в рыжих горах, и нашел его князь Богорич. И снова вернул под свое начало. Тем более что его походный табун разросся. Князь следовал в Кучук, где должен был с другими командирами подписывать «модус вивенди» о мире.

Ехали в легкой коляске, дед сам правил, за ними скакал малый эскадрон. И вдруг со скал ударили выстрелы. Одна волна, вторая. Конь упал под колеса. Другой, обезумев, бился в путах. Дед соскочил с козел, отрезал ножом упряжь на убитой лошади и вскочил на уцелевшую. Рысью погнал ее в подлесок. Пули визжали вокруг, а он гнал и гнал. Пока обессиленно не упал на окровавленную гриву.

Деда ранили в шею и ногу. Князю раздробило плечо. Их везли вместе, одного под бархатной плащаницей, второго – на возу, устланном сеном. Но обоим с одинаковой радостью махал лохматыми ветками можжевельник. И грустные ноты флюяр<sup>81</sup> убаюкивали обоих. И везли их по дороге от смерти к жизни лошади, которых они одинаково любили. Конь, на четыре ноги подкованный, и тот спотыкается. Что уж говорить о человеке, чьи ноги не один раз подламываются и без пули.

---

<sup>80</sup> *Ландвер* – войсковые формирования Австро-Венгрии в XIX – начале XX в., созданные из военнообязанных запаса.

<sup>81</sup> *Флюяра* – дудка.

Они выжили. Выжили, чтобы понять, что это было их последнее боевое состязание. Закончились для них войны. У полковника плетью висела десница, а конюх волочил за собой ногу. К службе не пригодны.

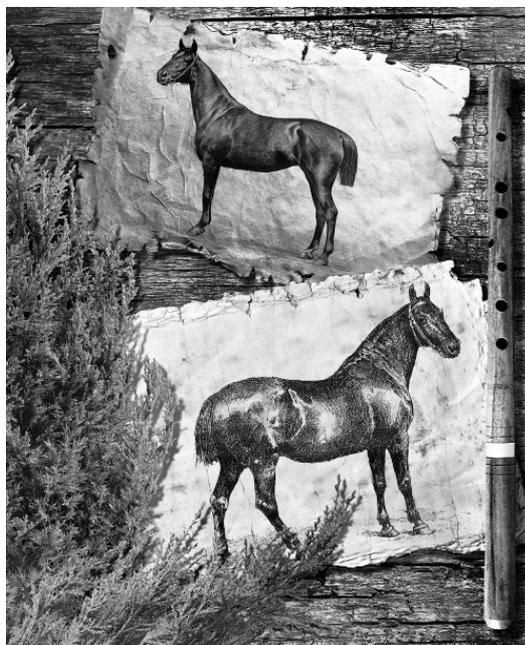
У князя было огромное имение над Бледным озером. Серебром ледяных чешуек играл водный плес, скрипели смолы в стволах столетних лерх, клубы утренней мглы путались в конских гривах. Данила, как в юношестве, водил лошадей по берегу, стоя ногами на их голых спинах. Когда вскидывалась в озере большая рыба, жеребцы тревожно фурчали. На сытом ничегонеделанье они жирели. И заплывало мутным жиром сердце русина.

Князь предлагал пустить здесь корни: «Отрежу тебе кусок земли на берегу, поближе к конюшне. Слепишь себе хатенку».

«У меня уже есть клин крутогора над рекой, который называется Латорица», – отнекивался дедушка.

«Найдем тебе небедную девку со светлыми косами...»

«Водись конь с конем, а вол с волом».



*«С лошадьми ходили вброд, по вязким отмелям, «о болотах, водили их под низкими ветвями, заставляли перепрыгивать ручьи, колоды, костры...» (стр. 68).*

*«Деда ранили в шею и ногу. Князю раздробило плечо. Их везли вместе, одного под бархатной плащаницей, второго – на возу, устланном сеном. Но обоим с одинаковой радостью махал лохматыми ветками можжевельник. И грустные ноты флюяр убаюкивали обоих...» (стр. 69).*

Загрустил русин на чужбине. Привык он к воде быстрой, не стоячей. И к людям, более быстрым в словах и делах. Начал собирать мешок в дорогу. Князь про это прослышал, сокрушенно вздохнул:

«Все-таки поворачиваешь оглобли на свои Карпаты?! Путешествие и хромоте пахнет. Хорошо, так тому и быть. Что ж, пойдешь отсюда, как настоящий коновод. Одного коня ты спас вместе со мной, еще одного получишь в дар за службу... Однако открой мне наконец свою тайну: чем привлекаешь лошадей, чем добиваешься такой преданности?»

«Ей-богу, не знаю, господин».

«Не верти, говори про то, что не знаешь», – давил князь.

«Я просто слушаю... слушаю, как он дышит».

«И что с того?»

«И сам дышу с конем так же... Пока мы не станем одним – я, конь и воздух».

...В какое-то воскресенье, как испокон веков до этого, всходило из-за Белебня солнце. Вскходило для тех, кто созрел в ожидании. По опушке Монастырища топали два уставших мерина. Один вез бесаги<sup>82</sup> с поклажею. На втором покачивалась молодка под копной кудряшек, что ниспадали к седлу. В ее руках затаилась сизая горлица, а в глазах, широких, не наших, застыла свежая синева далекого моря. Сбоку похрамывал статный капрал в выцветшем сером мундире и в крысане<sup>83</sup> с черным пером. Ухабы трясли его, терновник хватал за полы, но он шел по миру и вел за собой самое дорогое. И все еще не верил, что дошел.

*Мой дед, помимо всего прочего, научил меня двум вещам. Помни, что ты все время в дороге. Даже если хромаешь. И второе: ты всегда на коне. Даже если его не имеешь. Твои кони – надежда и вера.*

Вспоминаю своего деда и раздумываю о своей теперешней нужде: как найти тропу...

---

<sup>82</sup> Бесаги – двойная сумка через плечо.

<sup>83</sup> Крысаня – шляпа.

## Затесь пятая Раки любят глубину

*Дай сердцу разбиться. Дай беде изменить душу.  
Ружена, дочь Михи-деревача*

Вода посветлела, и рак шел на снасть. Еще и ночь выдалась теплая и безлунная – самое лучшее время для ракового жора. Я опустил в бакай<sup>84</sup> две сети, сплетенные из черемухи. Рак любит твердый грунт, камни и коряжища. В чистой воде усом чует пададь за пять саженей. В эту пору он еще изголодавшийся, вертлявый, может и рыбу перерезать клешней. Особенно жадная и хваткая рачиха. Как ухватится за добычу, то скорее клешню оставит, нежели яство. Рачиху легко расщепом выхватить из воды. В слуховой ямке раки носят мелкий камушек, что помогает им споро и размеренно двигаться. Пока не потеряют облезлый панцирь. И до обновления вяло прозябают в ямах. Тогда их не обманешь. Кормятся раки на мели, а прячутся на глубине. Сему научил меня мой отец, как и всему другому, что касается рыбалки.

Раки стягивались кодлом на приманку. До полуночи я дважды выгребал верши. Улов вытряхивал в вербовую корзину, чтобы стекла горечь. Раздавленные раки не пахнут, но Марковций, проныра, унюхал запах пищи. Пришлось и его наделить. Царское угощение – мяско рака. Нежное, беленькое, с розовыми прожилками. Есть ли что вкуснее и здоровее, чем майский рак?! И настолько же целебное. Рак питается топняком, речной мелкотой, известковыми ракушками улиток и панцирями своего отродья. Керосин вытягивает из раков эту известь и становится лекарством от сыпняка. Это первая помощь. При этом надо жевать аир, чеснок, обтирать большого уксусом с водой, смазывать чемерицей на смальце, поить болотным мытником и черным егерским вином...

Все это я совал себе в корзинку. Не забыл и березовый деготь. Раков, не использованных для лекарства, и так съедят. Лучшего обновления печени невозможно найти. И сердце от них крепнет, и жилы, и раны затягиваются без шрамов.

Божий челядин Аввакум, знахарь тайн яко небесных, так и земных, показал мне как-то на обвале серовато-темные кристаллики с металлическим отблеском. При открытом осмотре они улетучивались фиалковым дымком. Поэтому эллины так и называли это вещество. Очень донимает человека нехватка его в питании. Из-за этого у каждого пятого подкарпатца увеличенный зуб, а дети растут слабенькие телом и умом. Есть ли возможность сему как-то помочь, выпрашивал я. Да, этими крохами насыщена подземная соль, что осела после ухода моря. Издавна наши горы были под солеными водами... А еще надо есть больше мяса, рыбы, яиц, ягод, орехов, винограда, того, что доступно разве что панам. Зато бедняк может питаться раками, в их мясе «фиалкового дыма» в сто раз больше, чем в говяжьем. Не зря сказано: бедному и рак рыба... Божий челядин и сам любил раков. Возможно, потому, что и сам был подземным отшельником.

...И пошел я, снаряженный лекарствами. Хотя, по правде говоря, не люблю с такими подарками в гости ходить. Да что поделаешь, Бог дает надобье, а лекарь – снадобье.

Пиняшко хлопотал во дворе. Человек из тех, чей возраст никак не определишь. Пепельное лицо в кустистой поросли, жирные кудели волос, зачахшие до бесцветности глаза. Плел из бересты коробицы, такие вот глубокие корытца. Три, зачерненные сажей, стояли уже готовые. Были к ним и крышки.

---

<sup>84</sup> Бакай – большая яма в реке.



*«Есть ли что вкуснее и здоровее, чем майский рак?! А настолько же целебное. Рак питается топняком, речной мелкотой, известковыми ракушками улиток и панцирями своего отродья. Керосин вытягивает из раков эту известь и становится лекарством от сыпняка. Это первая помощь. При этом надо жевать аир, чеснок, обтирать больного уксусом с водой, смазывать чемерицей на смальце, поить болотным мытником и черным егерским вином...» (стр. 73).*

Я поклонился, он заколебался – протягивать ли грязную руку.

«Идет работа?» – надо было с чего-то начать.

«Пусть Бог варует<sup>85</sup> от такой работы. Еще недавно я строгал люльки, а тут такое случилось... гробики править. Старшему на доски еще как-то поднатужился, а этим, что доходят, и лыковые шкатулки будут. Маленькие, как воробушки. Если суждено им опрягтись<sup>86</sup> – я и готов. А Бог, думаю, не пренебрежет такой оправой. Чем они успели согрешить, потятка<sup>87</sup> мои? А кару на них послал...»

«Не от Бога кара сия, а од одежных вшей. Пустишь меня в домишко?»

«Кем вы, сват, будете?»

«Тем, что смерти противится. Ты ее накликаешь, а я отгоняю. Зовут меня Мафтей, живу над водой за Монастырищем. Слышал?»

«Слышал, как же. Вы людям помогаете».

«Лишь тем, которые готовы себе помочь».

На сенном пороге стояла, как привидение, его жена. Изможденная, восковолицая, с затуманенными безумными глазами. Подняла руки, то ли в просьбе, то ли в угрозе, но я решительно вошел в горницу. Дети покотом лежали на застланном полу, прикрытые грязной тряпкой. Меня уже запах обо всем известил. И их пригаслые заячьи глаза свидетельствовали о затемненном сознании. Локти, бока обильно усыпаны, животики мягкие, по нужде не ходят. Хорошо, что ноги не почернели. Мать тоже заразила сыпная ветрянка, в разговоре спотыкается. Когда я откупорил бутыль, неистово затрещала: «Вон! Не дам их палить! Лучше погибнуть, чем сгореть!»

<sup>85</sup> Варует – избавит.

<sup>86</sup> Опрягтись – умереть.

<sup>87</sup> Потятко – птенец.

Муж унял жену. Я велел настелить свежей соломы и содрать с детей лохмотья. Тогда намазал их и напоил. И женщину тоже. Она их передела и сама легла сбоку. Затем мы с газдой обкурили кучу дегтем и вышли на улицу.

«Ваше лекарство, – сказал Пиняшко, – так же пахло, как и то, что приносила Павлина».

«Кто?»

«Дочь моя. Та, которая сгинула. Может, слышали?»

«Слышал».

«Для кого было снадобье?»

«Для старшего. Он первый пострадал. Павлинка принесла водичку, и мы мазали. Дите в себя пришло. Но того лечения было мало. Доченька обещала еще принести, чтоб вылечить малого наверняка и чтобы на других не перешло. Хлопотала о его спасении да и сама пропала. На днешний день без следа...»

«Кто ей давал снадобье?»

«Не ведаю. Осталась пустая посудина...» – человек пошел в клеть и вернулся со стеклянным штофом.

К горлышку бутылки были привязаны три нитки – черная, белая и красная. Снова нитки. Три. Которая из них путеводная? И куда ведет? Я вытянул затычку – пахло керосином. Керосином на раках.

«Э, братец, – сказал я сам себе. – Ты думал, что знаешь толк в снадобьях здесь только ты».

«Что о детях скажете?» – Пиняшко повернул ко мне водянистые очи, в коих не было ни жалости, ни страха, ни интереса. Глаза рыбы, что взирает на мир сквозь воду, и сам взгляд ее – студеной вода. И из души сего мужика что-то вымыло всю живизну.

«Бог даст – оживет детвора. Коль завтра не будет улучшения, дай мне знать».

«Дорого возьмете за лечение?»

«Дорого, – сказал я. – Возьму с тебя зарок, что будешь делать так, как научу. И все будет в порядке».

«Пождите! – встрепенулся тот. – А что тогда с этими коробичами?» – учтиво тронул кончиком пальца бересту.

Каждый мастер уважает свою работу, какой бы она ни была. Я понимал бессмысленный вопрос убитого горем человека. Понимал я и присказки других таких русинов над новорожденным: «Еще один рот кормить, еще один зад паскудить». Понимал, но не прощал их глупости и малодушия.

«Зря, все зря, – возвращался он в реальность. – Не думайте, я не злой сердцем. То судьба злая. Куда ни глянь – клин. Три года подряд на нее тружусь, на белую безносую госпожу. А она берет и берет. Двух старших сыновей забрала... А Павлинку за что? За что сгинула голубиная душа? Один крестик после нее остался. – Мужик натруженными пальцами достал из кошелька медный крестик на кожаном шнурке. – Монах Клима говорит, что это точно самоубийство. И что Господь такую душу отталкивает от своей милости... А я не верю. Не верю и все тут. Зачем бы ей себя губить, молодой и здоровой? Голоднячка – дело другое... Она вообще ослепла. Кто на такую позарился? А нашей Павлинке чего не хватало? Девка, как головка сыра. Не то что Голоднячка слепоглазая, прости Господи...»

«И та пропала?»

«В тот же день, то бишь в ту же ночь. Обе к утру не вернулись... Мы через реку живем. Тогда вода упала, и Павлинка бегала к Голоднячке через брод. Утешала ее, говорила, что есть такое снадобье, от которого бельма сойдут, как пленка с яйца. И она его достанет. И брата бралась вылечить... Теперь нас некому успокаивать... Тепереча я сам, как посередине воды, над этими чертовыми корытами...»

«Не бери в голову, человеке, найдем и твоим корытам службу», – молвил я.

Тогда научил его, как приспособить плетенки под рачевню, когда, как и где их устанавливать. Мы согнули обруч из вербы, приделали крест-накрест палки для крепления приманки. Сверху узел, к которому привязывают жердь. Ее поднимают из воды одним махом, чтоб раки не успели разбежаться. С той вершею мы двинулись к реке, чтоб найти подходящее место. И погрузили снасть в водоворот под сгнившим пнем.

«Долго не стоит держать корзинку в воде, – наставлял я, – ибо раки обглодают палочки дотла. Это такие прожоры, что будь здоров».

«А скажи-ка, мил человек, – понизил голос Пиняшко. – Если утопленник, не дай Бог, заляжет в такой колдобине, тогда что?»

«Что? Как доберется к нему стая раков, то обглодают за ночь до косточки».

Я пожалел, что сказал это, потому что у бедняги даже голова задергалась. Пришлось загладить его душевное волнение.

«Ты вот что... крестик тот сохрани».

«Для кого?» – упавшим голосом спросил Пиняшко.

«Для той, которой был предназначен. Не так легко свой крест оставить... Найдет он нас, где б мы не были».

«Так думаете, господин хороший?»

«Знаю».

В его бесцветных стеклянных глазах блеснула искра. Искра надежды вперемешку со страхом. В конце концов, ничего нового, подобное я вижу в каждой второй паре глаз.

Я сказал, что хочу навестить Голодняков, и он пораял<sup>88</sup> пуститься вброд – через тридцать ступеней под гору. Мы попрощались. Я сел под одинокой ольхой, чтобы снять сапоги. Одновременно и передохнуть. Затылок что-то беспокоило, я оглянулся – ствол обвязан толстой шерстяной ниткой, оборванной на узелке. Кто-то пометил так дерево? Я отрезал нитку и спрятал за черес<sup>89</sup>.

Брод тянулся по верху старой гряды, раньше здесь стояла мельница, пока ее не подмыл паводок. Через пережат рыбаки перетягивают лодки волоком. Я шел напрямик через брод, вода кое-где поднималась выше колен. Иногда о мои икры билась твердыми ртами плотва. Берег с той стороны мулистый и обрывистый, хорошо, что с берега до самого плеса тянулась веточка дички<sup>90</sup>. По ней я выбрался на сушу. И первое, что поймало око (а может, именно это и искало), – шерстяную перевязь вокруг комля. Дичка росла точно напротив ольхи через реку. Деревья будто пометили брод. Зрячему сего достаточно, подумал я. А незрячему мало. Его глаза – ноги и руки. Нитки на тех двух деревьях были из одного мотка.

Нитки преследовали меня. Или я их.

Тропка прямо по берегу вывела меня ко двору Голодняков, который курился дымом и паром. Ежели кому и подходят их прозвища, то это не про Голоднячку. Полная бабенка бочечкой катилась вокруг двух кадок, в которых вываривалась бель<sup>91</sup>. Подсыпала поташ и пшеничный клейстер. Тернинки глаз в сыром тесте лица вмиг проклевали каждую ниточку на мне, каждый мускул и волосок еще до того, как я обратился к ней. Наверное, я так и не научусь читать взоры сих людей. В глазах русина обычно отражается больше, чем он знает. В глазах русинки больше скрытого. От людей, от Бога, а часто и от самой себя. Такие внутренние обереги.

«Бог в помощь. Как поживаете, хозяйюшка?»

---

<sup>88</sup> *Пораял* – посоветовал.

<sup>89</sup> *Черес* – широкий кожаный ремень.

<sup>90</sup> *Дичка* – дикая груша.

<sup>91</sup> *Бель* – бельё.

«Да как видите. Чего челядину надобно – лишь бы живой да сытый».

То, что она сыта, я видел. От навеса с коробом белья подошла девица и стала мешать в выварках рогачкой. Хозяйка приказала ей следить, чтобы тряпье не прикипело ко дну. Потом обернулась ко мне:

«Вы, мыслю, не рубахи принесли стирать?»

«Нет, мне река стирает, а ветер сушит».

«Мы тоже в реке полошим. Ниже брода. Как раз собрались туда».

«Я вам помогу нести, – напросился я. – Заодно и потолкуем».

«Знаю, о чем хотите услышать. Я панов обстирываю – новости сами ко мне сходятся. Слышала, что пасете следы пропавших девок. Дошли и до нас... Хорошо, я вам покажу след. Тропка, какой пойдем, и есть последняя дорога моей Лизы. Сошла по нему к реке и уже не вернулась... Вода, если берет, то живым уже не возвращает».

«Зато живым отдает мертвых».

«Лизу не вернула. Неделю платила людям, чтобы протянули кошками дно до самого моста. Лишь раков набрали. Они в сих омутах очень тучные...»

Про раков я слушать не хотел и взялся за короб со стиркой. Мы спустились к Латорице. Ниже гряды-запруды на водной глади плел свои кружева водоворот. В темной глубине бурлили невидимые потоки. Не каждый удалой пловец решится здесь нырнуть. На том месте с берега приладили широкую доску. С нее и полоскали. Возле доски столбец с поручнем. Девица взялась усердно толочь вальком верето<sup>92</sup>, а мы с Голоднячкой отошли в сторону.

«Ваша дочь, слышал я, была незрячей. И ходила на реку?»

«Для стирки глаза не нужны».

«А что случилось с глазами?»

«Воспалились у Лизы очи. А еще затагнулись бельмами, точно рыбий пузырь. Думаю, что от мыловарения. Ви же знаете, как это делается?»

Я знаю... Знаю, потому как мыло у меня предшествует снадобьям, а часто даже заменяет их.

Сварить такое целебное мыло – хлопотная работа. Пепел из лесных палок и сожженного зелья сеешь сквозь сито в широкое корыто. Потом смачиваешь его крещенской водой и мешаешь до тех пор, пока не станет валким. Сгребашь в кучу и сверху делаешь углубление. В него кладешь известь, которая потихоньку гасится влажностью. Извести добавляется вполовину меньше, чем золы. Когда она превратится в порошок, месиво обливается водой и охлаждается сутки. Из него стечет первая крепкая щелочь. Ее я наливаю в котел и нагреваю до кипения. Затем добавляю всякие ошметки жира, шкуры и кости, которые оставляет Марковций. После этого доливаю щелочь послабее. Вариво булькает, пока не загустеет, как студень. Чтобы затвердело, подсыпаю соль. Ядровое мыло вычерпывается, и снова варится, и еще раз солится. Когда созреет, высыпаю в выстланный полотном лоток, подсыпаю цветы первого покоса. Пускай прееет, набираясь запаха. Лишнее осядет на дне, а мыло можно резать на куски и сушить.

Не знаю, как Лиза готовила мыло, но не это погубило ей очи. Теперь уже поздно втолковывать Голоднячке, что бельма той же щелочью и согнать можно. Смешивая ее со сметаной. Для усиления надо омыывать бельма травой очанкой, заодно и пить настой. И вдуть в глаза толченый сахар, чтоб слезливость началась. Слеза сама вымоет нечисть... Помню, как лысый ворожей в войлочной реверенде<sup>93</sup>, который останавливался в торжке деда у Гнилого моста, лечил глаза соком красного лука, смешанным с молоком. Кроме всего прочего, это обостряет

---

<sup>92</sup> *Верето* – разноцветный ковер из грубой шерсти.

<sup>93</sup> *Реверенда* – ряса.

зрение. А горцы из-за Менчила научили меня выводить бельма еловой смолой. Хватит одной капли на день...

«Бельма укрывают очи от напряжения. Видать, ваша доченька имела привычку возиться в темноте», – молвил я Голоднячке.

«Да ведь ей темнота стояла в глазах днем и ночью. Слепой...»

«А до этого?»

Женщина испуганно вонзила в меня черные иглы глазок.

«Да вы и сам, вижу, сквозь темноту смотрите. Для виду спрашиваете, а сами все знаете... Брат мой овец держит на пастбище. Настрижет копну – и к нам. А Лиза пряла. А когда прясть, как тут днем надо с тряпками толочься? Ночью, когда ж еще. Мы ложимся, а Лиза – за веретено. Мы все одевались в ее деланья<sup>94</sup>. Изо дня в день до полуночи пряла. И не светила себе. Зачем, говорит, лампу жечь, я прясло и руками чувствую. Такая проворная была. В темноте на ощупь, а ровницу вела тоненькую, как шелк. Я панам показывала – не верили, что то из рук мужички...»

«Темнота и погубила ей глаза», – заметил я.

«Да и ее саму», – вздохнула прачка.

«Я такого не говорил».

«Что тут сказать. Осталась я без доченьки и помощницы. Довелось вот нанять девчущку. Да чужими руками разве что жар загребать. Лизе я доверяла все, как старшей челядинке. Послушает, кивнет головкой: «Не печальтесь, мамка». Думаете, присела после того, как глаза потеряла? Как же! Мыло, правда, уже не колотила, а белье полоскала и дальше. В работе забывала о своей беде...»

«Мучилась тем?»

«Людей стыдилась, особенно своих ровесников. Нелегко в молодые годы такую напасть испытать. Убегала на реку. Туда и пряжу брала. Мы ей лавочку поставили под орешником. Бывало, до темной ночи сидела. Что слепому потемки! В тот вечер тоже пошла с рукодельем на берег. Толстую нить Лиза свивала без струмента. Парило тогда к буре. Видать, хотела, бедняжка, освежиться с доски да и сорвалась в стремнину. Тутки, ниже брода, клокочет, как в котле. Сами видите...»

«А нитки?» – осторожно спросил я.

«Какие нитки? – куснула меня мышинным взглядом. – Не осталось после нее ни тряпок, ни ниток».

«Осталось», – я полез за черес и вытянул обрывок крученой шерсти.

Лицо женщины посерело, как мыло, а языком еле ворочала.

«Правду люди говорят, что вы знаете что-то *такое*...» – прошипела.

«Не знаю, что знаю *такого*, но знаю, например, что и хрен может быть лекарством... И знаю, что ожидание ест глаза и точит сердце. Однако говорю вам: ждите ее, ждите недремно...»

Я отдал Голоднячке нитку. Бабы не любят, когда у них свободные руки.

Уже за орешником догнал меня ее оклик:

«Я могла бы вам что-то постирать!»

«Если хотите услужить, наймите цыганский воз и выварите тряпье несчастных Пиняшковых, что живут через реку. И не жалеите поташа. Коль Господь вас не отблагодарит, то я заплачу».

Недалеко я и отошел, как услышал за собой топот. Из тысячи звуков я угадал бы дробный стук голых детских пят. Им не только трава радуется, но и ухо челядина, который носит скрыто ребячество в себе. Того, кто и сам босиком перетоптал все побережья и поймы Латорицы. Узнал я и своих малых знакомцев в ватаге ребятни. И остановил их, ибо было чем. Будто

---

<sup>94</sup> Деланье – работа, изделие.

догадывался о встрече и набил дома карман сухими дикими черешнями. Сладковатая квасница обтягивает косточку, зато сосать можно долго. Дети несмело протянули лодочки ладошек.

«Юрику первому, – сказал я, – потому что он был первым в беге».

Юрик, гордый вниманием, залепетал полным ртом:

«А у нас скоро первые черешни будут. Маевки».

«Вот те раз! Не ты ли раньше говорил, что ваши черешни засохли?»

«Те, что на улице. А за хлебом родят. Еленка успела им побаять<sup>95</sup>, чтоб не посохли».

«Как это?»

«А вы не знаете? – понизил он до таинственной значительности голос. – И мы сперва не знали. Надо обвязать деревья нитками».

«Простыми нитками?»

«Куда там простыми, – засмеялся Юрик. – Нитки из иерусалимской вербы, что на той стороне растет».

«Разве верба нитки родит?» – от души удивился я.

Теперь уже все смеялись надо мной. А больше всех Юрик.

«Вы прямо как ребенок, дед. Верба ничего не родит. Одни прутья на кошарки. А нитки к ней Мара привязывает. Колдунья. Чтоб не потеряться ночью, когда ходит по берегам и метит деревья, которые должны усохнуть...»

«И ваши метила?»

«Еще как. Черной ниткою. И два дерева начали вянуть. Хорошо, что Еленка успела принести белые нитки из иерусалимской вербы. Черная сила отступила, и черешни стали файно родить. А это наш хлеб, говорит нянь, потому что черешни и сливы можно обменять в винокурне на зерно... Но за ваши сушеные дикульки не дадут и золотник овса. Ничего не дадут...»

«Я ничего и не прошу», – соглашаясь ответил я.

Хотя это была не совсем правда: за свои квасницы я получил хорошую цену. Дети – самые щедрые плательщики.



*«К горлышку бутылки были привязаны три нитки – черная, белая и красная. Снова нитки. Три. Которая из них путеводная? И куда ведет?..» (стр. 77).*

<sup>95</sup> Баять – помогать. От слов бай, баяльник – знахарь, ведун.

*«Остаток дня я слонялся по виноградникам, собирая улиток с полосатыми ракушками. И заодно собирая вместе свои мысли. “То, что проявится, становится светом. А плод света во всем явном”. Так говорил мой учитель...» (стр. 87).*

Мой бесталанный отец Грынь любил говорить: *«Если долго не находишь то, что ищешь, значит, оно под ногами»*. Это он научил меня читать следы живла, то бишь живого мира.

Верба. Дерево, принесенное паломниками из окрестностей Гроба Господнего. Теперь я догадывался, откуда тянутся нитки. Я разлегся в холодке под бузиной, откуда было хорошо видно противоположный берег. И одинокую вербу на нем. Между кустистыми кочками бежал подпрыгивая человек, неся охапку сушняка. Я узнал одноглазого скитальца. Приблизившись к вербе, он осторожно положил ношу на землю и белкою взлетел на стволище. Дупло приняло его вместе с головой. Вынырнул, держа что-то в обеих руках. Солнце поблескивало на его оскаленных зубах и на рыбьей чешуе. Соскочил на землю и поднял свою добычу над головой, похваляясь небесам. И радостно затрубил во всю грудь, как олень. Редко я видел, чтобы человек так радовался еде. Даже сам проглотил слюну. Эх-ма, в дупло иерусалимского дерева исправно заплывают давидковские шуки.

Одноглазый насадил рыбину на рожон, собрал свой хворост и исчез в орешнике. Возможно, там жег костер. А я вернулся к броду. Перешел реку и сам устремился к вербе. Первое, что попало на глаза, – красная нитка на суку. Тоже оборванная. Отвязав ее, я заглянул в дупло, такое же глубокое, как и широкое. Ворон каркал надо мной, привлеченный рыбным духом. Но я пришел не за рыбой. Выгреб из дупла запревшие листья и мох, когда рука наткнулась на мягкий комочек. Шерстяной клубок. Нитка толстая, витая вручную. Знакомая нитка. Вот и нашелся моток, из которого протянули через реку бечеву, дабы пометить брод. Зрячему сие ни к чему, а слепому напутствие.

Я вернул труху на место, чтобы своим вмешательством не смутить калеку или кого-то еще. Дупло было в самом деле глубоченное – медведь мог усесться. Могильная какая-то яма. В сердце шевельнулось странное чувство: будто не поднимаюсь я к разгадке, а спускаюсь на ее дно. И сие дно пугало меня какой-то причудливой отдаленной известностью...

Остаток дня я слонялся по виноградникам, собирая улиток с полосатыми ракушками. И заодно собирая вместе свои мысли. *«То, что проявится, становится светом. А плод света во всем явном»*. Так говорил мой учитель.

Потом я вернулся к реке. Прозрачность воздуха уже тонула в воде. Рябое солнце скатывалось с медного неба. Суббота умирала для завтрашнего воскресного дня. *«Живи и умирай сего дня...»* Аввакум любил повторять сии слова. Правда, никогда не объяснял их смысл. Он много еще оставлял додумывать мне самому.

Живи и умирай сего дня. И рождайся завтра.

## Затесь шестая Тот, кто съел гору

*Не важно, сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоих днях.*

*Мой дед Данила*

Пристройку, где стояли кони деда, досель подпирает груда камней. Дедовы камни для счета. Я подобрал горсть кругляков разного цвета и разложил их на столе. Время подвести первый итог моих изысканий.

Первый камешек – Эмешка, дочь бирова, так в народе называют бурмистра. Под камешек я подложил гушиное перо. Пропажа барышни может быть связана с лебедями, которые невесть чего снялись из заплавы. А может, с поведением болезненной матери. Неизвестно, причастен ли к этому молодой рыбарь Алекса, что ухаживал за девицей. С ним будет особый разговор. Ежели это он напугал птиц, то с каким умыслом? А если не он, то кто и зачем? Лебеди были чем-то (или кем-то) не на шутку растревожены. «Куюс либитус?» – спросил бы благочестивый Аввакум. Чей каприз? Кто-то приложился к сему очень умело. И мнительная, как ее мать, дева могла броситься за птицами на поиски. Как в той сказке... Но здесь не сказка. Тут до нее пропало еще семеро. И без лебедей. Зато у каждой своя причина.

Второй камень – Еленка, сестра Юрика. Рядом я положил две соломинки, которые должны обозначать засохшие плодовые деревья. Болезненная утрата для местного жителя. Черешни – первые ягоды в наших краях, и они всегда имеют цену. Черешневый сад кормит лучше, чем клин картошки. И над ним нависла какая-та угроза, и девчушка об этом знала и старалась помочь. Остановила колдовство и сгнула. А сад зацвел... Как и там: гуси-лебеди вернулись в родные места. Только не девоньки.

Третья метка – Марточка-вышивальница. К ней я прислонил уголек из печи. Там сожжен хлев со всем инвентарем. Сиречь отрубили мастеру руки, а у ртов забран прокорм. Хлев, заметил я, совсем близко возле хижины. Почему огонь не захватил и ее? Потому, что ветер тянул в другую сторону. Случайно ли сие произошло? Возможно. А может быть, и нет. Дома никто не файчит<sup>96</sup>, с лампой в тот вечер к скотине не ходили. Поджог... Сразу после того исчезает Марточка. Шитье расходится по людям. И тот вышитый портрет какой-то святой... под деревом. Под сухим... Что это за парсуна, которая и иудею Мошку годится?! Пожарище затянуло лебедой, а вышивальница и следа не оставила после себя. Одни нитки...

Четвертый кремешок – Обручарова Мокрина. Пропала в тот же день, что и Марта. И унесла тайну «проклятой» усадьбы. Двое детей в ней утонуло. Провалилась земля, зачахла криница, усохли деревья. Помеченные черными ниточками... Тут Мара, как сказал бы малый Юрик, отвела душу. Еще и прихватила с собой невинную... Иль, может, обманула, искусила, соблазнила... Нитка идет за иголкой. Но ведет иглу чья-то рука. Рука, которая мешаает и помогает одновременно. Умелая, грозная и властная.

Пятая заметка – добросердечная Павлина, которая бросилась спасать от смертельной хвори братьев. Ее отметил я клешней рака. Кто-то ей дал немного снадобья на временное оздоровление от сыпняка. И душа девичья вострепелась. А еще обещана и помощь для незрячей цимборки. Тот затененный благодетель понимает в целительстве, но требует за это плату. Какую? За каким снадобьем ушла Павлина в глухую ночь? Да еще и не сама.

---

<sup>96</sup> *Файчить* – курить.

Шестой камешек, темный, – слепая Лиза. Как ни странно, с ней больше всего ясности. Девушка на выданье потеряла зрение – напасть и позор. За бельмами свет не черный, а мутный. И в сей каламути явился проблеск надежды. И она пошла за ним. Сначала за ниткой через брод, оттуда под руку с подругой к иерусалимской вербе. А дальше... Кто и куда повел их далее? Кто б то не был, он имел у них большой авторамент<sup>97</sup>, большое доверие. А может, и вселял большой страх...

Мара. Ее место в центре. Я положил на стол пустую бутылку из-под керосина. Неожиданно для себя я попросил ее у Пиняшка. Подогрели мой интерес не так пятна зелья внизу, как стекло редкостного цвета – зеленовато-желтое, будто старая медь. Такой памятный, такой неприятный для меня цвет. Цвет испеленной любви. Так сияли мне из далекой молодости знакомые и родные до боли глаза...

Напротив бутылки я разместил вербовую палку, дабы обозначить дуплистое дерево, а на нем – рыбий плавник. И объединил рядок камушков, бутылку и щепу ниткой из клубка Лизы. Получился треугольник. Пустой, как сама неизвестность. И углы его были остры, как мой интерес.

Остались еще два камушка. Подождут своего часа. Не столько ждали во дворе в куче, нагроможденной дедовым подвигом.

В начале исповеди думал я, что сожму свою повесть в короткий шаблон, как говорят стряпчие. Но живое повествование, видать, имеет свой обряд. Подобно воде, находит русло и, набирая разгон, расширяет его. Чтобы очертить свой путь, должен завершить начатый диариуш<sup>98</sup> своего деда Данилы.

С валки<sup>99</sup> вернулся он не токмо с ранами. Привел коней, как змеев, а на них – свою законную жену. Никто не узнал, откуда он ее привез – из хорватов, из сербов, из болгар или, может, из морского закрайка под Черными Горами. Никто точно не знал и ее девичьего имени. Дед называл избранницу Злотой. Потому что на самом деле она принесла ему сокровище любви. Говорят, любовь слепа. Да где уж там, их любовь была с широко раскрытыми глазами. Рай для двух пар глаз, которые одевали, испивали, купали друг дружку. Союз двух открытых сердец, соединенных в единое целое душ.

---

<sup>97</sup> *Авторамент* (арх.) – авторитет.

<sup>98</sup> *Диариуш* (арх.) – жизнеописание.

<sup>99</sup> *Валка* – война.



*«Я подобрал горсть кругляков разного цвета и разложил их на столе. Время подвести первый итог моих изысканий...» (стр. 88).*

*«И объединил рядок камушков, бутылку и щепу ниткой из клубка Лизы. Получился треугольник. Пустой, как сама неизвестность. И углы его были остры, как мой интерес.*

*Остались еще два камушка. Подождут своего часа. Не столько ждали во дворе в куче, нагроможденной дедовым подвигом...» (стр. 90).*

«Ангел их объединил и восхитился», – говорили одни. «Любовь не короста – не исцелишь просто», – приговаривали другие, полукавее.

Про ангела не знаю, но дед как-то проговорился, что познакомили их кони. Он купал их на морской отмели, а на берегу девушка плела сети. Жеребец, возбужденный соленой водой, начал гарцевать на песке и запутался в бредне, что сох на шестах. «Ох, и задаст мне отец, когда с промысла вернется», – горько вздыхала девица. А глаза смеялись, обливали кавалериста горячей синькой. Тогда он сам с разгона влетел в целый невод, запутался, специально бился в воде, как большая рыба. А рыбарка давилась смехом и хлопала себя ручонками по коленям. Дедушка подхватил ее и забросил на коня, а сам вскочил на второго, держа две узды. И они летели по берегу, разбрасывая изумрудные брызги, и щиколотки их сопрекасались, а руки – десница парня и шюя девушки – сжимали друг дружку, потому что одной было страшно. Боялась оторваться от него. Уже тогда.

Прискакали на пристань, и дед купил ей новые сети и целую гору разноцветных пант-ликов<sup>100</sup> в косы. А еще монисто<sup>101</sup>, такое тяжелое, что его держать надо было двумя руками. «Почему такое длинное? – смешливо спросила она. – У меня шея тонкая». – «Чтобы надежно привязать тебя к коню, который сам тебя выбрал». – «И куда он меня повезет?» – «Повезет тебя через сербские низины и мадыарские пустоши в горный край островерхих елей и серебряных буков, которые сторожат правду старовека. Там небо так низко, что звезды лохматят волосы. Там нет моря, зато сияющая река шепчет под самым окном, а рыба пасется во дворе». – «Тогда мне не нужно будет плести волоки?» – «Нет, только волосы заплетать, ибо наши жены ходят

---

<sup>100</sup> *Пантлик* – лента.

<sup>101</sup> *Монисто* – бусы.

с косами». – «А одна будет ходить размаянная<sup>102</sup>, – сказала морячка. – И как только ты на сие согласишься, она будет твоей...»

Дед согласился. Он на все соглашался, чего она желала. Угадывал эти желания еще до того, как она раскрывала рот. *Мудрой голове достаточно двух слов. А любящему сердцу и того не нужно.*

Злота была другой не только глазами и волосами. Ходила в богатой пондоле на сотню рубчиков, в атласном лейбике, а тонкий стан ее охватывал шелковый червлёный пояс. И носила сапожки из зеленоватой юхты. Босоногие росвиговские женщины завистливо поглядывали в ее сторону, а послушники монастырской винницы мелко крестились. Да что там сапоги – Злота ходила в дощатый будар<sup>103</sup> (возможно, первый в русинском Мукачеве) с полным кувшином воды и полотенцем. Чудеса, невиданные дотоле. Она никогда и нигде не прикрывала свои роскошные, вымытые жабьим мылом косы, что спадали с плеч, как раскрыленная шелковая реверенда. Ее маленька дочка, моя мамка, засыпала в этой теплой пахучей пеленке. А дед, ее муж, запутался в том чародейском неводе на веки вечные...

С тех пор как он ступил на родную землю, боль отошла из раненой ноги. Просто была тяжелее другой: в ней сидела турецкая пуля. Позже я расспрашивал, как ему было в дальних мирах. Чужест чужбины, сознавался дедушка, перебарывал воспоминаниями про свой Дом. Помнил и чувствовал его, где бы ни был. Научился выживать в разных местах, нося с собой, как улитка ракушку, образ Дома. Теперь он вернулся и привез сюда познанный мир, свою суженую и добытых коней.

Княжих серебряных даров и плохонького приданого жены как раз хватило, чтобы купить кованный тарантас. И стал дед возить купцов, путешественников и панов, которые любили в воскресенье отдохнуть в своих винницах. Был при лошадях, с такими-сякими деньжатами, жил под отчим кровом с родной душой. Чего еще хотеть? *Кому легко на сердце, тому весь мир улыбается.* Когда отрывался от дома на дольше – в Доброчин, Токай или Кошицы, – складывал над камином ароматные румяна, веночек ягодных веточек, винные гроздья или маслянистый сладкий комочек турецкой лакитки, называемой там галвой. Это были его беззвучные слова любви, которые он не мог произносить издалека.

*И я с тем вырос, и ныне с этим живу: языку любви не нужны слова.*

В горнице и печь была как раз по ней, по Злоте. Под печи у самого пола, а дно печи высокое и широкое, на полстены. Очажок живо помигивал днем и ночью. Южной женщине уже тогда не хватало света и тепла. Ледяная дымка, принесенная рекой с гор, тушила голубую яркость ее очей, а кисловатая свежесть утра обжигала карминовые<sup>104</sup> уста. Привыкший к жаркому соленому пространству взгляд упирался в нависший кряж Белебня, испещренный козьими тропами. Клин плавней между водой и горой – весь ее мирок. Здесь и рыба была водянистой на вкус, и сыр горьковатый, и соль соленей, и хлеб русинский чернее и тверже – подобный тем, кто его выращивал.

Купалась она в хлеву с фонарем. Дед выдолбил из ясеня глубокое корыто. Злота говорила, что ясень – светоносное дерево. А из камыша он сплел занавес, чтобы лошади не видели ее голое тело. На запястьях и на косточках ног имела бледно-синие печати под кожей. А когда снимала с головы красивый платок, серебряные монеты на веревочке тихо позванивали – *цень-цень-цень...* И радость тихая подымалась в дедовой душе.

Когда его не было, Злота, нарядно разодетая, как на пиршество, сидела напротив печи; по одну руку горшочек запаренного на медах цикория, по другую – детская колыбель светлого дерева. Сидела и плела, правда, уже не сети, а кружева из выбеленного на солнце льна. Пальцы

---

<sup>102</sup> *Размаянная* – с распущенными волосами.

<sup>103</sup> *Будар* – нужник.

<sup>104</sup> *Карминовый* – ярко-красный.

плели узоры, а губы выводили песенки. Слова в них были перевиты чужеземной, как тот густой напиток, грустью:

Еще и солнышко не заходило,  
Что-то ко мне да приходило.  
То ли среда, то ли пятница,  
Или родная моя матица.  
Она у меня не обедала,  
Лишь пришла и проведала.  
Полдничать не захотела,  
Только меня пожалела.

Маленькая пискля в колыбельке, моя мать, слушала те напевы, и они глубоко посеялись в ее душе, дабы в будущем, когда она станет просвирницей-шептухой, прорасти богатыми заговорами. Это она со временем донесла до меня сказы о сей избранной женщине, которая сдобрила морской солью нашу кровь, тех, кто родился на пресноводной реке. И которая принесла в пресноводное течение рода наводнение любви.

Дед возвращался из поездок, клал на стол деньги и подарки, становился на колени перед образом. Быстро молился, ибо его ждал другой желанный образ. Злота подходила сзади, наклонялась – и плащаница волос накрывала его. Окутанный теплом, затуманенный родным запахом, он еще долго так стоял, чтобы не нарушить волну тихой радости. Ее узкие, дрожащие от ожидания ладони лежали на крепких дедовых плечах – самая сладкая тяжесть. Ее горячие ноги прижимались к нему, и, закрыв в истоме глаза, сдерживая стук сердец, они замирали в безгреховном соитии. И дед в такой миг, возможно, думал: «Есть я, есть конь и есть сия женщина, и нас обнимают воздуха радости. *Есть вкус жизни – главный вкус. Тот вкус, что в яствах, в воде, в любимой работе, в беседе. Когда ты не ешь то, в чем нет свежего вкуса. Не говоришь долго с тем, кто мертвый душой. Пьешь из чаши жизни малыми глотками, чтоб ее раньше времени не опустошить. Чего еще можно просить у Неба?!*»

Он большего и не просил. Зато просила она, его жена. Просила солнца. Осень в том году оказалась гниловатой и влажной, под ногами чавкало. Злота мочила коноплю и простудилась. Хворь засела в груди. Высушивала ее, выбеливала лицо и, будто солью, вытраивала синеву в глазах. Боль, как и удовольствие, говорит с нами глазами. Уже взор был не той морской наяды, что утащила неводом хромого всадника. И смех уже не тот, не жемчужный, а больше трескучий, как горит хворост в огне. Студеная веялица, что двигалась по реке, рвала ей грудь, крошила кости. Но чудо: болезнь превратила ее из сочной молодки в женщину сухой, утонченной, зрелой красоты. Той красоты, что не берет, а дает, не искушает, а покоряет, не ослепляет, а озаряет. Говорили, что в самом деле она вся светилась. Может, потому (так думаю теперь я), что выгорала изнутри.

Зима осушила слякоть, со вкусом сосала дым из труб дымоходов. Подняла и больную с постели. Ранняя ярь разлеглась заливами. Куда ни станешь, ни моргнешь глазом – вода. Да еще и мокрая. До мозга костей проникает. Кукушка в голых березняках скупно врет, отмеряет, как жид проценты. Кому не досчитывает?

Красные ночки – короткие денечки. Так говорят старые люди. Пришли дни, когда для Злоты стало столько света, что в окне. На лежанке под крошечным окошком встречала поздние рассветы и провожала ранние предвечерья.

Нам дана милость не только любить, но и страдать. Дед метался во все стороны, истязал лошадей. Из долины тянул медвежьё мазь, из Эгера – густое, как бычья кровь, вино, из Чума-

ловского скита – белые свечи, из Черногоры – черный дикий мед, от гуцулов – птичий помет, соскобленный со скал...

«Чего тебе хочется, мое золотко?» – спрашивал как ребенка.

«Солнца», – шелестела сухими, как лист, губами.

«Скоро солнце войдет в силу и прибавит дня».

«Гора съедает мои дни».

Белебень, что защищал двор от колючих вихрей из Бескида, давал корм лошадям и козам, поставлял орехи, ягоды и кислицы, защитник-кормилец, таки воровал солнце. Оно на этом побережье заходило быстрее всего. Да сие никогда никому не вредило. Солнце знает, когда ему являться. Когда оно всходило, тут уже с готовностью его ожидали. Потому что оно всходило для них. Их солнце, из-за их горы, над их рекой...

Склон горы принадлежал деду как откуп за солдатчину. А сама макушка Белебня – нет. Дед продал коней, сбрую, бричку, все кучерское снаряжение и купил тот вершок, покрытый лесом. И начал рубить деревья, кряжить их и спускать вниз. После того как срубил все полностью, светлый день в лощине удлинился на вершок. Да моему деду того было мало. Предание гласит, что он пришел к горе и молвил: *«Ты есть грудь земли и земное кормило. Но солнце старше тебя и ты должна ему уступить»*.

Дед не был красноречивым, мало говорил с людьми, больше с лошадьми, и теперь обязан был якшаться с горой. Гора молчала. Так казалось некоторым, но не деду. Он слушал и в полнейшей вековой тишине слышал ее недовольный утробный глас. И тогда объяснил горе: «Я уперся в тебя. Дальше нету просвета. И у меня нет выбора. Тебя я не уничтожу, я разнесу тебя. Так, как разносит себя вода». И стал копать.

Тут всходило для него солнце. Отсюда он его провожал, сдерживая силой мысли последний луч для Злоты. Запах дягиля, настоящего на месячной росе, встречал его спозаранку. Ласковый ветерок чесал его взлохмаченные волосы на закате дня. А он копал, копал, копал...

У деда не было лошади, и землю он таскал на себе. Из березовых жердей сколотил волоки и ставил на них корзины с землей. Глыбы пускал по склону – и они катились до самой реки, нагромождая гать. С тех пор нас больше не беспокоили потопа. Когда изнашивались полозья, дед ладил новые. Когда рвались корзины, вязал из вербы новые. И копал, копал, копал.

Чтобы не терять зря времени, питался хлебом и печеными на пнях овощами. И сам стал черным, костлявым и жилистым, как обожженный пень. Давно забыл про увечье ноги. Постепенно забывал о лошадях, о рахманной<sup>105</sup> животине, сам становясь тяжеловозом. В пустую корзину бросал камни, что обозначали его ходки с горным грузом. Когда удавалось свезти без чрезмерного усилия, клал белый камушек. Бывали дни, когда на дне тесно лежали одни белые. Злота нежно гладила их ладонью, как яички неведомой птицы. Вероятно, они отбеливали ее длинные темные вечера.

*«Все будет хорошо», – говорил дед любимой жене. А может, и самому себе. И это были самые главные слова. Может, единственные слова, что сильнее молчания.*

Он точил гору, как червь, отрывая ее для солнца. И гора смирилась. Но не смирились, ясное дело, люди. Смех, насмешки, проклятия... Люди как люди. Где это слыхано, чтобы мышь съела гору! Совсем человек умом тронулся. А он копал. Только молодой монашек Аввакум, прибывший из пещер Афона, поддерживал его. «Не донимайте человека. Если и не вынесет он ничего из своего труда, что можно было бы взять рукою, то исполнит желание. Не все живут, чтобы есть и спать, кто-то живет мечтами».

Гора их свела – «двух туземцев, двух сизифов», как шутил черноризец. Один углублялся в гору, а следовательно – и в себя. Второй выравнивал ее для светлого пространства, а заодно и для своего внутреннего просветления.

<sup>105</sup> Рахманный – тихий, спокойный.

Аввакум часто выходил на развороченную дедом гору и перекладывал камни.

«Сие самая первая коса, – показывал копачу продолговатый зазубренный плескач. – А это – рубило, долото древнего древодела. А туточки выбито очертание знакомой нам твари. Узнаешь корову?.. Когда первобытный человек, обманув голод и холод, взял кремешок не как оружие и снасть, а как резец, он нацарапал в пещерной тьме силуэт коровы-кормилицы. Себя человек стал изображать позже...»



*«Дед не был красноречивым, мало говорил с людьми, больше с лошадьми, и теперь обязан был якшаться с горой. Гора молчала. Так казалось некоторым, но не деду. Он слушал и в полнейшей вековой тишине слышал ее недовольный утробный глас. И тогда объяснил горе: “Я уперся в тебя. Дальше нету просвета. И у меня нет выбора. Тебя я не уничтожу, я разнесу тебя”. А стал копать...» (стр. 97).*

*«Я искал камушек с выбитой на нем лошадкой...» (стр. 103).*

Аввакум и сам поселился в пещере. Дед укрепил ее палками и над погребницей на яблоньку-дичку привил йонатанку. Он еще воевал с горой, когда дерево впервые запестрело бордовыми яблочками, которые мерно падали под ноги схимнику и цепко держались на ветвях аж до нового цвета. Примороженные, они стучали на ветру, аки медные. Знать, это единственный оркестр, что скрашивал молитвенное уединение монаха.

Яблоки те были не единственным плодом невероятного труда деда. Выкопанную землю он свозил в овражки над Латорицей, заполнял, выравнивал их. Болотное неудобье становилось ровной, твердой насыпью. Все дальше он опоясывал подковой подножие горы. Пока не появилась торная дорога, которая над рекой соединила Кольчин с Мукачевым. Собралась посполитая и титульная челядь, братство из близлежащего Монастырища и порешили купить у деда срубленный лес и положить мост через перешеек Латорицы. Так за два лета появился Гнилой мост. Тогда он еще не был гнилым – бревна под ногами аж гудели. И двинулся по новому пути и по свежесрубленному мосту люд. Пеший, конный и тележий. В одну сторону и в другую. Даже Зеленьков торжок обосновался на переправе. Моего деда Зеленьком звали. Прежде чем стал Тем, кто съел гору.

«Как же мы тут будем жить? – заголосили домашние. – Денно и ночью в людском водвороте».

«Все будет хорошо», – сказал дед и отправился к своей горе. Он уже знал о ней такое, что его тянуло туда с большой силой. И она что-то знала о нем. И открылась ему.

Деньги за дес дали деду продох от семейных хлопот.

«Могу свободно делать свое, – радостно делился он с Аввакумом. – Мои рады-раदेशеньки, имеют хлеб и к хлебу».

*«Главное, чтобы ты был рад. Мир принадлежит тем, кто ему рад. Ты заслуживаешь это. Потому что, создавая свой мир, служишь людям, а значит, и Господу».*

Гора съедалась медленно. Нелегко грызть камень. Пространство ширилось, воздуха дышали свободнее над усеченным Белебнем. Солнце благодарно останавливало на кромке свой ход, одаривая горокопа ласковыми заходящими блестками. Смеялись его потрескавшиеся губы, и смеялся тысячами ослепительных бликов перекопанный развал. Блестели маленькие чешуйки в глине, жесткие на зуб. Дед собрал их расщепой стебелька на лист лопуха и принес в скит. Аввакум достал из сундука нужную книгу и нашел искомое – серебро! Это было серебро, крохами рассеянное в выбоинах рудников.

Среди пришлых скитальцев нашелся находчивый узкоглазый человек, который в том понимал толк. Металл тяжелее глины, его можно промывать – благо, быстрина рядом. На том и порешили: дед копал и свозил почву к Латорице, а пришлый промывал его на сите. Добытое делили пополам. Из первого куска серебра дед дал отлить в Сиготе паникадило для монастырского храма. Ибо старое совершенно прогорело. Ох, кабы душа знала...

Новенькое кадило сразу и пригодилось. Первой, кого с ним обошли, была Злота, моя бабка. Ее выстуженная синеглазая душа отошла в самый полдень, когда солнце пекло во всю мощь. Никаким серебром нельзя откупиться от смерти.

Весь торжок притих. Тот, кто съел гору (тогда только частично), сошел вниз. Стоял в своем дворе, как среди воды, не зная, куда девать удлинившиеся от тяжести руки. И за что взяться. Пропало желание к чему-либо здесь прикасаться. Лошадей не было, любимой жены не стало. Оставался кряж, сточенный им на четверть.

В тот день с горы сорвалась глыба, прогремела по склону и влетела в реку, разбив лотки для мытья серебра. Дед сказал: «Доста!»<sup>106</sup> – и прогнал старателя. Вскоре серебро перестало слепить. Пропала жила. Как раз хватило его на ковчежек для ладана и на два дуката, чтобы прикрыть ими лилейные веки умершей. Доста.

Молодой еще тогда Аввакум служил парастас.

*«Истории любви, – завершил он проповедь, – пишутся на небесах. Когда-то мы их прочтем все и увидим весь свой путь».*

Дед еще долго жил. Хозяйничал в основном на горе, которая все меньше походила на гору – больше на холм. На лето закладывал себе колыбу<sup>107</sup> и копал, копал, копал. Уже не боролся за солнце, солнце припекало там ого-го. Колол камни для мостовой. Подошва Белебня открылась пластами твердого камня с искристыми зелеными прожилками. За него хорошо платили, всем нам жилось возле деда хлебно. Тем более что от моего родного отца пользы было мало. За колотым булыжником приезжали из Хуста и Унгвара, возили его и полякам. А главное – на реформаторскую церковь на улице Новой и графскую охотничью займанку в Берегваре. Это был отборный материал для мостовой и фундамента. Перекупщики так его и называли – камень от Зеленьяка. А со временем: от Того, кто съел гору.

*Век наш, как роса.* Сточить гору до основания дед не успел. Она все же победила его позвоночник. Однажды вечером он впервые спустился в овраг налегке – без камушков, отмечавших его дневной труд. И в последний раз. Присел под яблоней, где всегда в эту пору корпел над книгой Аввакум.

---

<sup>106</sup> Доста – хватит.

<sup>107</sup> Колыба – шалаш.

«Живи спокойно, раб Божий, к твоей землянке я не докопаюсь. Пора уже и мне отдохнуть».

«Заслужил ты. Познай покой», – благословил его монах.

«А ты... Многого ли ты достигнешь под землей?»

«Не я, а мой Господь».

Перед кончиной дед позвал меня и сказал:

«Все хорошо. Токмо жаль мне, что не закончил задуманное».

«Вы столько сделали, дедушка», – неумело утешал его я.

«Э, ни в одном деле нет добра, пока оно не закончено... Знаю, ты не будешь копать за меня. Тебе того и не надобно. Каждый должен обрабатывать свою гору. Кто – сровнять ее, а кто – воздвигнуть».

Я согласно кивнул головой.

«Помни: глупый мелет языком, умный говорит головой, а мудрый – руками и сердцем. Какой прок от того, что мы говорим. Замечают и оценивают лишь то, что мы сделали. Дай мне слово, что не потеряешься в этом мире».

Я дал. А что еще я мог дать ему в ту минуту?!

«Держись берега, – молвил дед напоследок. – Того берега, на котором Божий челядин Аввакум...»

Ночью еще один валун сорвался с горы. В воронку из-под него и положили деда. Я удивился тогда: каким землистым было его освобожденное от растительности лицо, его руки. На могилу положили камень. Земля к земле, камень к камню.

Так закончилась земная планида моего деда. Осталось в памяти, как я, малолетка, слонялся по целине Белебня. Одурманивающе пахло дягилом, сдвинутый склон горы затягивало терновником. Я искал камушек с выбитой на нем лошадкой. Его дед нашел первым, но потерял и очень жалел о нем. Мне тоже не везло, и я бросил поиски. Тем более что и Аввакум советовал:

«Помогать надо живым, а не мертвым. Не жалея его, жалея о нем. И себя меряй по нему. Ибо столько у нас цены, сколько тех, кто хочет уподобиться нам».

Жизнь деда была дорогой сердца. Он разгадал благородное сердце лошади, покорила сердце редкой, особенной женщины, познал сердце горы. Он приблизил мне солнце, мой дедушка. И открыл новое понимание: чтобы получить крупицу серебра, надо просеять гору глины. *Ежели ты не имеешь того, что любишь, полюби то, что имеешь.*

Истории любви пишутся на небесах. Когда-нибудь мы их прочтем и увидим весь свой путь.

## Затесь седьмая Мертвым в глаза не заглядывают

*По-разному Ты, Господи, пользуешься дождем:  
Одних им наказываешь, а других – защищаешь.  
Из свитков Аввакума*

Наметанный глаз читает следы под ногами. Земные тетради. А в небесах пишат птицы, мои небесные вестники. Воронье сопровождало меня от Шабиного акачника<sup>108</sup> до самого Булгарского выгона. Люди не любят ворон, а я наоборот. Вороны, единственные из птиц, оплакивают своих мертвецов. Лебеди тоскуют по паре, а вороны равно грустят по каждому брату, по каждой сестрице. Долго тоскуют и размышляют об их гибели, чтобы самим избежать ее. Ближайшие к бессмертию существа. Сии птицы долго живут и ведают что-то такое, чего мы не знаем. Вороны годами помнят своих обидчиков. Любят потрошить чужие тайники и скрывать свои. Может, и в моих поисках знают больше, чем я. Но ныне вороны возбужденно каркали о другом. Чували далекую добычу, которая была им недоступна. Смерть чували.



*«Люди не любят ворон, а я наоборот...» (стр. 104).*

*«Я не слышал, чтобы кто-то специально выращивал тмин. Лишь собирают по обочинам. Я тоже собираю и даю роженицам, чтобы было молоко. А мази из него замешиваю от перенапряжения нервов...»*

*«Далее я отправился в Подгород. Подножие холма Паланок затянуто кучерявыми полосами винниц. Снизу кажется, что они возносят замок-каштель, обнесенный высоким каменным забором...» (стр. 112).*

С тем я начал день, с тем и пришел к Поросникам. С завалинки глядела на меня косым глазом носатая баба в черном. Еще та ворона. У такой нутро не сразу и разгадаешь, чем дышит – гортанью или жабрами. Я выдал себя: такой-то, пришел с тем-то.

<sup>108</sup> Акачник – лесок из акаций.

«Слышала я, ходите, людей тревожите. Мало им своего горя. Еще и душу рвете...»

«Ничьи души я не неволю. Коль не имеете что рассказать или не хотите, на том до свидания».

«Мне нечего скрывать. Я и ей изо дня в день говорила: побойся Бога, девка, с огнем играешь. Где это слыхано, чтобы девка на выданье крутила целой гурьбой парней! Я ей не родная мать, мачеха, да редкая старшина так убивается по неразумному дитятку. Отравила мне сердце потаскуха. Напасть, ежели родится хорошенькое, а на передок слабенькое. Недаром говорят: пригожа на личко – мокрая гузичка... Как за той сучкой мужики таскались. Всем кому не лень давала. Ни одного не оттолкнула. И из нашего сурдика бегали, и пришлые с базара, и стражники с каштеля<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> *Каштель* – замок, крепость.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.